

Фазиль Искандер

Созвездие Козлотура



Аннотация

Мир, в котором живут герои Фазиля Искандера, – это миниатюрная копия нашего большого мира, где соседствуют смешное и трагическое, мудрость и глупость, хитрость и простодушие.

Созвездие Козлотура

В один прекрасный день я был изгнан из редакции одной среднерусской молодежной газеты, в которой проработал неполный год. В газету я попал по распределению после окончания института.

По какому-то дьявольскому стечению обстоятельств оказалось, что мой редактор пишет стихи. Мало того, что он писал стихи, он еще из уважения к местному руководству выступал под псевдонимом, хотя, как потом выяснилось, псевдоним он взял напрасно, потому что местное руководство знало, что он пишет стихи, но считало эту слабость вполне простительной для редактора молодежной газеты.

Местное руководство знало, но я не знал. На первой же летучке я стал критиковать одно напечатанное у нас стихотворение. Я его критиковал без всякого издевательства, хотя, возможно, и с некоторым оттенком московского снобизма, что, в общем, простительно для парня, только-только окончившего столичный вуз.

Во время своего выступления я краем глаза заметил странное выражение лиц наших сотрудников, но не придал этому большого значения. Мне, честно говоря, показалось, что они поражены изяществом моей аргументации.

Возможно, мне все это и сошло бы с рук, если бы не одна деталь. В стихах, написанных от имени сельского комсомольца, говорилось о преимуществах картофелекопалки перед ручным сбором картофеля.

По простоте душевной и даже литературной я решил, что это одно из тех стихотворений, которые приходят самотеком во все редакции мира, и в конце своего выступления, чтобы не совсем обижать автора, сказал, что все же для сельского комсомольца оно написано довольно грамотно.

Впоследствии я никогда не критиковал стихи нашего редактора, но, кажется, он мне не верил и считал, что я эту критику перенес в кулуары.

В конце концов, я думаю, он правильно решил, что для провинциальной молодежной газеты вполне достаточно одного стихотворца. Какого именно, в этом у него не было сомнений, как, впрочем, и у меня.

Весной началась кампания по сокращению штатов, и я попал под нее. Весна вполне подходящее время для сокращения штатов, но мало приспособленное для расставания с любимой девушкой.

Я был тогда влюблен в одну девушку. Днем она работала учетчицей в бухгалтерии одного военного учреждения, а вечером училась в вечерней школе. Между этими двумя занятиями она успевала назначать свидания, и, к сожалению, не только мне. Она разбрасывала эти свидания, как цветы.

Можно сказать, что в те годы она проходила сквозь жизнь с огромным букетом цветов, небрежно разбрасывая их направо и налево. Каждый, получивший такой цветок, считал себя будущим хозяином всего букета, и на этом основании возникало множество недоразумений.

Однажды мы встретились в парке и некоторое время гуляли по аллеям, обсаженным могучими старыми липами. Был чудесный вечер с далекой музыкой, с листьями, шуршащими под ногами, с расплывающимся в сумерках ее живым, смеющимся лицом.

Когда мы вышли из аллеи на освещенную фонарем площадку, я заметил группу ребят. Один из них, на вид наиболее сумрачный, отделился от своих дружков и направился к нам. Его сумрачное лицо сразу же мне не понравилось, я даже подумал, что лучше бы к нам подошел кто-нибудь из остальных, но подошел именно он.

Он приблизился к нам и молча, не говоря ни слова, влепил ей пощечину. Я бросился на него, мы сцепились, но потом подошли остальные и все испортили. Я был сбит с ног и порядочно помят. Так приостанавливают или предотвращают в наши дни дуэли.

Оказалось, что она в этом парке чуть ли не на это же время назначила ему свидание.

– Хорошо, но почему в этом же парке? – спросил я у нее, стараясь уловить какую-то логику в ее поведении.

– Не знаю, – ответила она, смеясь и нежно отряхивая мой пиджак, – но ведь и я тоже получила...

Я посмотрел на нее и горестно подумал, что ей все идет – от пощечины лицо ее сделалось еще более хорошеньким.

В последнее время ее преследовал один, как нам тогда казалось, пожилой майор. Она, смеясь, часто рассказывала о нем, и это меня тревожило. Я уже знал, что, если девушка слишком смеется над своим поклонником, а тот достаточно упорен, она может выйти за него замуж хотя бы под тем предлогом, что ей с ним весело. В упорстве майора я не сомневался.

Все это не слишком способствовало моему служебному рвению и давало некоторые внешние поводы для осуществления тайного замысла моего редактора.

Чтобы замаскировать свою пристрастность ко мне, редактор сократил вместе со мной нашу редакционную уборщицу, хотя сократить следовало двух наших редакционных шоферов, которые все равно ничего не делали, потому что месяцем раньше началась кампания по экономии горючего и им перестали выдавать бензин. Они до того обленились, что отпустили бороды и целыми днями, не снимая пальто, играли в шашки, сидя на редакционном диване, с лицами, развратно перекошенными от непроходящей похмельной скуки.

Там, где можно было на машине проскочить за материалом в один день, мы ездили в командировку на несколько дней, потому что кампанию по сокращению командировочных расходов тогда еще не проводили.

Так или иначе, сокращение состоялось, и я решил, что мне надо ехать на родину. Редакция щедро со мной расплатилась. Я получил зарплату, какие-то непонятные отпускные и гонорар за свои последние корреспонденции. В ту пору я еще жил студенческими представлениями о финансовом могуществе и поэтому решил, что по крайней мере на два месяца мне обеспечена полная независимость.

Я в последний раз проводил свою девушку до вечерней школы.

– Обязательно пиши, – сказала она и, в последний раз бросив мне ослепительную улыбку, исчезла в темном проеме дверей вечерней школы.

Я считал, что такая любовь, конечно, не зависит ни от времени, ни от разлуки. Все же я был несколько уязвлен ее мужеством, мне хотелось более ощутимых признаков ее привязанности, чем эта улыбка.

Вечер я провел на скамье городского парка, обдумывая свою прошедшую жизнь и мечтая о новой. Я сидел на сырой скамье в уже расцветающем, голом, холодном парке. Неожиданно из репродуктора полилась песенка Сольвейг. И пока она звучала, мне ничего не стоило легким, незаметным, может быть, чуть-чуть шулерским движением вложить душу Сольвейг в мою девушку.

Нет, думал я, мир, в котором создана такая песня, несмотря на все свои погрешности, имеет право на счастье и будет счастлив.

И довольно легкомыслия, думал я, надо принять участие в преобразовании мира, пора стать взрослым человеком, пора устраиваться на работу в настоящую взрослую газету, где занимаются настоящими взрослыми делами.

Надо сказать, к этому времени, независимо от моего сокращения, мне порядочно надоел псевдомолодежный словарь нашей газеты, ее постоянное бесплодное бодрчество.

Мне надоели все эти задумки вместо замыслов, живинки вместо живости, веселинки вместо веселья и даже глубинки вместо глубины. Черт его знает что!

Нет худа без добра, думал я, теперь я стану настоящим журналистом, и она многое поймет и оценит.

Что именно она поймет, я представлял смутно, но то, что она оценит меня, казалось мне бесспорным.

Ночью друзья проводили меня на московский поезд. Согретый их прощальной лаской, я уехал в Москву, чтобы оттуда ринуться вниз на родину, на благословенный юг.

В Москве мне удалось тогда проездом напечатать одно стихотворение, что по тогдашним временам было немалым успехом. С одной стороны, я наносил удар своему бывшему редактору, потому что он в Москве не печатался. С другой стороны, стихотворение шло на родину впереди меня и должно было сыграть роль визитной карточки в нашей газете «Красные субтропики», где я собирался устраиваться.

– Да, да, уже читали, – сказал редактор газеты Автандил Автандилович, как только увидел в коридоре редакции. – Кстати, не собираешься ли ты вернуться в

родные края?

Он, видимо, решил, что я приехал в отпуск.

– Собираюсь, – сказал я, и мы обо всем договорились. Мы договорились, что он меня возьмет, как только один старый сотрудник редакции уйдет на пенсию.

С месяц я гулял по берегу моря, ходил по пустынным пляжам, стараясь переложить на стихи свои не слишком веселые раздумья. Два моих письма, посланные ей, остались без ответа, и я самолюбиво замолчал. Правда, я еще написал письмо товарищу, с которым работал в молодежной газете. В письме я вскользь упомянул, что уже принят в настоящую взрослую газету, куда просил черкнуть о себе, если ему такое придет в голову. Кстати, писал я, если кое-кого случайно встретишь на улице, можешь сообщить об этом, разумеется, если найдешь уместным. В конце я передавал привет всем без исключения сотрудникам редакции. Письмо, по-моему, было выдержано в спокойных тонах с легким налетом мудрого снисхождения.

Воздух родины, насыщенный резким запахом моря и мягким женственным запахом цветущих глициний, успокаивал меня. Возможно, йод, растворенный в морском воздухе, благотворно действует не только на телесные, но и на душевные раны. Целыми днями я валялся на пустынном пляже и загорал. Иногда мимо меня проходили небольшими группами местные сердцееды. Они хозяйственно оглядывали пляж, они изучали его, как полководцы рельеф местности, где вскоре предстоят великие битвы.

Наконец человек, который должен был пойти на пенсию, согласился пойти, потому что в это время прошла небольшая кампания за то, чтобы люди, достигшие пенсионного возраста, действительно шли на пенсию. До этого он всячески бодрился, но тут ему пришлось согласиться. Его торжественно проводили, и даже купили ему резиновую надувную лодку. Правда, он еще намекал на спиннинг, но намек его остался непонятым, потому что надувная лодка и без того опустошила кассу месткома. Впоследствии он стал повсюду говорить, что его отправили на пенсию против воли и даже не подарили обещанного спиннинга, хотя спиннинга ему никто не обещал. Ему обещали подарить резиновую лодку и подарили, а про спиннинг и речи не было.

Я об этом говорю так подробно, потому что в какой-то мере получалось, как будто я сел на его место, хотя я был принят как местный кадр и имеющий квартиру.

С работниками нашей газеты я был знаком не первый год, потому что еще студентом во время летних каникул неоднократно пытался заинтересовать их своими литературными произведениями. Заинтересовать, как правило, не удавалось, зато я кое-что узнал о наших сотрудниках.

Во всяком случае я твердо знал, что редактор газеты Автандил Автандилович стихов никогда не писал и писать не собирается. Более того, он вообще за все время своего пребывания в газете, во всяком случае на моей памяти, ничего не писал.

Этот человек по самой природе своей был руководителем широкого профиля.

Как и многие мои соотечественники, он обладал прирожденным застольным талантом. Высокий рост, кучерявые волосы, мужественная внешность делали его одинаково желанным, более того – необходимым как за банкетным столом, так и за столом президиума на больших собраниях. Он свободно говорил на всех кавказских языках, и тосты, которые он произносил, не нуждались в переводах.

До своего редакторства он руководил местной промышленностью, разумеется, в масштабах нашей маленькой, но симпатичной автономной республики. Вероятно, с делом своим он справлялся хорошо, может быть, даже очень хорошо, потому что появилась настоятельная необходимость его выдвинуть, и, когда открылась возможность, его сделали редактором газеты.

Как прирожденный руководитель широкого профиля, он быстро освоил новое дело. Оперативность его была действительно необычайна. В нашей газете довольно часто появлялись передовые наиважнейшие темы промышленности и сельского хозяйства одновременно с центральными газетами, а то и днем раньше.

Я, как и мечтал, был принят в отдел сельского хозяйства. В эти годы одна за другой в сельском хозяйстве проходили реформы. Мне хотелось разобраться во всем этом, понять, что куда идет, и стать в конце концов настоящим знатоком своего дела.

Руководил отделом Платон Самсонович. Не следует удивляться его имени. У нас таких имен – хоть пруд пруди. Видимо, они у нас остались еще со времен греческой и римской колонизации Черноморского побережья.

Я знал его и раньше – это был тихий и мирный человек, мы часто с ним ловили рыбу. Более опытного и умелого рыбака на нашем побережье я не знал.

Но ко времени моего поступления в редакцию он совершенно изменился: про рыбалку не вспоминал и даже продал свою лодку. Он ходил по редакции лихорадочно возбужденный, с каким-то сумрачным блеском в глазах, с многозначительно поджатыми губами. Он и всегда был человеком небольшого роста, правда, жилистым и крепким. Теперь он совсем усох, стал еще более жилистым и как бы наэлектризованным.

Дело в том, что в это время проходила кампания по разведению козлотуров, и он был первым пропагандистом этого дела.

Вот как это началось. Года два назад Платон Самсонович побывал в одном горном заповеднике и привез оттуда небольшую заметку о селекционере, которому удалось окрестить горного тура с обыкновенной козой. В результате появился первый козлотур. Он спокойно пасся среди домашних коз, не подозревая, какое великое будущее предназначила ему судьба.

На заметку в газете никто не обратил внимания, но, оказывается, один большой человек, хотя и не министр, однако никак не меньше министра по значению, прочел ее. Он каждый год отдыхал у нас на Оранжевом мысе. Он прочел ее и сказал вслух:

– Интересное начинание, между прочим...

Теперь уже трудно установить, обращался ли он с этими словами к

окружающим или просто так вымолвил вслух то, что ему подумалось, но на следующий день Автандилу Автандиловичу позвонили и сказали:

– Поздравляем, Автандил Автандилович, он сказал, что это интересное начинание, между прочим.

Автандил Автандилович созвал сотрудников и в праздничной обстановке объявил благодарность Платону Самсоновичу. Кроме того, он срочно командировал его вместе с нашим фотокором, с тем чтобы он теперь привез развернутый очерк о жизни козлотура.

– Не исключено, что в будущем козлотуры займут достойное место в нашем народном хозяйстве, – сказал Автандил Автандилович.

Через неделю в газете появился очерк под заголовком «Интересное начинание, между прочим». Очерк занимал половину газетной полосы и был снабжен двумя крупными фотографиями козлотура – анфас и профиль. В профиль морда козлотура была похожа на лицо вырождающегося аристократа со скептически оттянутой низшей губой. Анфас морда козлотура с мощными, великолепно загнутыми рогами выражала как бы некоторое недоумение. Казалось, козлотур сам не может понять, кто он в конце концов, козел или тур, и что лучше: становиться козлом или оставаться туром.

В очерке подробно рассказывалось о его дневном рационе, о его трогательной привязанности к человеку. Особенно много говорилось о его преимуществах перед обычной козой.

Во-первых, он в среднем в два раза тяжелей обычной козы (решение мясной проблемы), во-вторых, он отличается исключительной крепостью конституции, что делает в будущем выпас козлотуров на самых крутых горных склонах практически безопасным. В этом месте, кстати, отмечалось, что благодаря мягкому, спокойному характеру животного выпас козлотуров не представляет большого труда и один пастух может справиться с двумя тысячами козлотуров.

О шерстистости козлотура Платон Самсонович писал в игривых тонах. Он писал, что густая шерсть белой и пепельной окраски – дополнительный подарок нашей легкой промышленности. Оказывается, жена селекционера связала себе кофточку из шерсти козлотура, и выглядит эта кофточка, по мнению Платона Самсоновича, ничуть не хуже импортных. «Модницы будут довольны», – уверял он.

В очерке отмечалось, что козлотур сохранил высокую прыгучесть своего знаменитого предка, а также красоту рогов, которые после определенной обработки могут служить украшением или прекрасным сувениром для туристов и доброжелательно настроенных иностранных гостей.

Я перечитал все материалы, посвященные козлотуру, и должен сказать, что этот очерк был самым красочным. Платон Самсонович вложил в него всю свою душу.

Видимо, очерк вызвал большой приток читательских писем, потому что вскоре в газете появились две новые рубрики: «По тропе козлотура» и «Посмеемся над

маловерами». В первой рубрике печатались положительные отклики и комментарии к ним. Во второй рубрике цитировались письма скептиков и тут же им давалась отповедь.

Под рубрикой «По тропе козлотура» было опубликовано письмо одного ученого, который писал, что лично его нисколько не удивляет появление козлотура, потому что все это давно предвидели последователи его агробиологии, тогда как некоторые ученые, находящиеся в плену у сомнительных теорий, не предвидели и, естественно, не могли предвидеть ничего такого.

В заключение великий ученый сообщал, что козлотур подтверждает правильность и его собственных опытов.

Это был знаменитый наш ученый. В свое время он выдвинул гипотезу, что современный баран – это не что иное как первобытный ящер, видоизменившийся в борьбе за существование. Гипотезу он доказал на основании, кажется, сравнительного анализа лобных пазух современного барана и черепа ископаемого ассирийского ящера.

Отсюда великий ученый сделал естественный вывод, что курдюк барана как видоизменившийся хвост ящера должен был сохранить некоторую способность восстанавливаться. Предстояло развить эту способность, с одной стороны, и приучить организм барана к безболезненному отрыву курдюка, с другой стороны. Этим он и был занят в последние годы. Судя по всему, опыты проходили успешно.

Правда, находились и завистники, которые жаловались, что гениальные эксперименты великого человека никто не может повторить. Жалобщикам вполне резонно отвечали, что эксперименты потому-то и гениальные, что их никто не может повторить.

Одним словом, поддержка великим ученым нашего козлотура была своевременна и благотворна.

Под этой же рубрикой было опубликовано письмо какой-то женщины. По-видимому, она ничего не поняла из статьи Платона Самсоновича или судила о ней понаслышке, потому что спрашивала, где можно купить кофточку из шерсти козлотура. Редакция вежливо разъяснила ей, что пока еще рано говорить о промышленном производстве кофточек, но само по себе ее письмо должно заставить призадуматься хозяйственные организации и уже сегодня начать подготовку к приему и обработке шерсти козлотура.

Здесь же было опубликовано письмо коллектива работников городской бойни, поздравлявшей тружеников сельского хозяйства с новым интересным начинанием. Работники бойни предлагали взять шефство над колхозом, который первым начнет выращивать козлотуров.

Под рубрикой «Посмеемся над маловерами» были опубликованы выдержки из писем какого-то зоотехника и агронома.

Зоотехник вежливо сомневался, что гибрид даст поколение, и, следовательно, вся затея с козлотурами не имеет будущего. По этому поводу редакция радостно

сообщала, что козлотур уже покрыл восемь козематок и по всем признакам не собирается останавливаться на этом. Покрытые козы чувствуют себя хорошо, а покрытие продолжается.

Агроном оказался более желчным. Он высмеял все качества козлотура, вместе взятые и каждое в отдельности. Особенно досталось прыгучести. Тут он прямо-таки плясал на костях. Интересно, писал он, как в сельском хозяйстве можно использовать высокую прыгучесть козлотура? Мы не знаем, писал он, как избавиться от прыгучести наших коз, потому что от нее страдают кукурузные поля, а тут еще прыгучесть козлотура. Кроме того, он пытался острить насчет того, что не собирается ли редакция выставить на следующих олимпийских играх козлотура в качестве прыгуна.

Редакция дала ему достойную отповедь. Сначала в спокойных тонах Платон Самсонович ему разъяснил, что высокая прыгучесть козлотура – очень ценное качество, потому что в будущем стада козлотуров будут пастись на альпийских лугах, на склонах, недоступных для обычных домашних коз. И там благодаря высокой прыгучести козлотур может сравнительно легко уходить от хищников, от которых все еще страдает общественный скот.

Что касается прыгучести колхозных коз, писал дальше Платон Самсонович, то редакция никакой ответственности за нее не несет, а несут ответственность колхозные пастухи, которые, вероятно, целыми днями спят или режутся в карты. Штрафовать надо таких пастухов, и не только пастухов, но и ответственных работников колхоза, начиная от председателя и кончая агрономом, который все еще путает альпийские луга с олимпийскими полями.

Желчный агроном после этого письма, видимо, больше не пытался спорить, зато вежливый зоотехник продолжал подавать голос.

Имя его снова появилось под рубрикой «Посмеемся над маловерами».

Он писал, что ответ редакции его не удовлетворяет, потому что если гибрид и сохранил способность покрывать коз, то это еще не значит, что он способен давать потомство. Кроме того, он считал, что в животноводстве надо делать упор на крупный рогатый скот, в частности на буйволов, тогда как козлотур, хотя и крупнее козы, все-таки остается мелким рогатым скотом.

Редакция ему отвечала, что, напротив, высокая способность к покрытию как раз и доказывает, что козлотур будет давать потомство. В ближайшие месяцы все выяснится, время работает на нас, писала редакция. Что касается направления нашего животноводства, то, во-первых, козлотура никак не назовешь мелким рогатым скотом, хотя он и меньше, чем крупный рогатый скот, а во-вторых, исключительное внимание к крупному рогатому скоту ясно показывает, что зоотехник все еще страдает гигантоманией, характерной для невозвратных времен.

Через несколько месяцев газета целой полосой отметила праздничное событие – все козы, покрытые козлотуром, а их было тринадцать, дали приплод, причем четыре из них дали двойняшек, а одна коза родила трех козлотурят.

На огромном снимке через всю полосу было изображено многочисленное

семейство козлотура вместе с юными козлотурятами. В центре стоял козлотур, и морда его теперь не выражала никакого недоумения. Казалось, он нашел себя – выглядел солидно и спокойно.

Ко времени моего появления в редакции «Красных субтропиков» Платон Самсонович стал первым газетчиком. Теперь он писал не только на сельскохозяйственные темы, но и на культурно-просветительные, а также передовые по отделу пропаганды. Его статья «Козлотур – оружие в антирелигиозной пропаганде» была отмечена на доске лучших материалов.

Целыми днями Платон Самсонович сидел за своим редакционным столом, окруженный учебниками по агробологии, письмами селекционеров и всяческими диаграммами. Иногда он делался задумчивым и неожиданно вздрагивал.

– Что с вами, Платон Самсонович? – спрашивал я у него.

– Ты знаешь, – говорил Платон Самсонович, радостно приходя в себя и оживляясь, – я часто вспоминаю свою первую заметку. Ведь я тогда еще думал: давать эту информашку или нет? Чуть было не прошел мимо великого начинания.

– А что, если бы прошли? – говорил я.

– Не говори, – отвечал Платон Самсонович и снова вздрагивал.

Платон Самсонович отдавал газете все свое время. Он приходил в редакцию раньше всех и уходил поздно вечером, так что мне даже как-то бывало неудобно уходить домой после рабочего дня. Впрочем, он всегда радостно меня отпускал. Дома он не мог работать, потому что он жил в одной комнате, а семья у него была большая – жена и взрослые дети. Он уже много лет стоял в очереди горсовета, и в конце концов уже при мне ему выдали новую квартиру. Я думаю, тут не последнюю роль сыграло возвышение его имени посредством козлотура.

В день получения квартиры мы все его искренне поздравляли, намекали на новоселье, но он с каким-то непонятным упорством отклонял эти невинные намеки.

Истинный смысл его упорства мы поняли только через несколько дней, когда узнали, что он ушел из семьи и остался в старой квартире. Потом мне рассказывали, что и раньше он несколько раз порывался уйти из семьи. Но, во-первых, уйти было некуда, а во-вторых, жена приходила жаловаться редактору, и Автандил Автандилович водворял его обратно.

Она и на этот раз пришла в редакцию и сказала:

– Верните мне моего изобретателя.

Автандил Автандилович вызвал Платона Самсоновича к себе в кабинет и начал, как обычно, водворять его. Но тот наотрез отказался вернуться в семью, хотя помогать ей не отказывался.

– Теперь не те времена, – сказал ей Автандил Автандилович, – решайте сами свои семейные дела...

– Они смеются надо мной, – вставил, говорят, в этом месте Платон

Самсонович.

– Как смеются? – удивился редактор. – Платон Самсонович занят большой государственной проблемой...

– Они мешают моей творческой мысли, – подсказал, говорят, Платон Самсонович.

– Верните мне моего изобретателя, – повторила жена.

– Она и сейчас смеется, – пожаловался Платон Самсонович.

– Он же не требует развода? – спросил у нее редактор.

– Еще этого не хватало, – сказала, говорят, она.

– Считайте, что он живет в отдельном кабинете, – заключил Автандил Автандилович.

– Перед людьми стыдно, – сказала, говорят, жена его, немного подумав.

На этом и решили. В сущности говоря, уходя от семьи, Платон Самсонович не собирался обзаводиться новой семьей или тем более любовницей. Он как бы удалялся от мирских сует, чтобы полностью отдаться любимому делу.

После его частичного ухода из семьи жена все-таки приходила менять ему белье и убирать квартиру. Платон Самсонович с удвоенной энергией продолжал заниматься своим детищем. Время от времени он выискивал новый угол зрения, под которым можно было рассматривать проблему разведения козлотуров.

Уже при мне, когда на берегу моря рядом с кофейней открыли павильон прохладительных напитков, он добился, чтоб его назвали «Водопой козлотура». Он любил посещать это заведение.

Иногда по вечерам, выходя из кофейни, я видел его в павильоне. Он пил нарзан, облокотившись о мраморную стойку с видом усталого, но довольного покровителя.

Хотя Платон Самсонович был за самые широкие и неожиданные формы пропаганды козлотура, никакого легкомыслия в этом отношении он не допускал.

Когда наш фельетонист сравнил одного многоженца, злостного неплательщика алиментов, с козлотуром, Платон Самсонович выступил на летучке и заявил, что такое сравнение дискредитирует в глазах колхозников всенародное начинание.

– Наверяд ли здесь есть серьезная ошибка, но прислушаться к замечанию стоит, – примирительно заключил Автандил Автандилович.

Платон Самсонович разработал рацион кормления козлотуров и предлагал колхозникам придерживаться его. В то же время он открывал дорогу и личной инициативе колхозников, советуя им прикармливать козлотуров сверх рациона другими продуктами и о результатах писать в газету.

– Первая ласточка, – как-то сказал Платон Самсонович, с нежностью показывая на обложку иллюстрированного журнала, который он держал в руках.

Я посмотрел и увидел снимок козлотура со всем его семейством, тот самый, который был у нас в газете, только этот был исполнен в цвете и выглядел еще более празднично.

Вскоре одна из московских газет дала статью под заголовком «Интересное начинание, между прочим», где рассказывалось о нашем опыте по выращиванию козлотуров.

Газета рекомендовала колхозам центральных и черноземных областей нашей страны изучить этот опыт и без излишней паники, не забегая вперед и в то же время не теряя драгоценного времени, поддержать это новаторское начинание.

Предугадывая возражения насчет разницы климата, автор статьи напоминал, что козлотур не должен бояться холода, так как вырос по отцовской линии в суровых условиях высокогорной зоны альпийских лугов.

Платон Самсонович тихо торжествовал. На последней летучке он довольно неожиданно заявил, что пора объявить штату Айова, с которым мы соревновались по производству кукурузы, соревнование по разведению козлотуров.

– Но ведь они не разводят козлотуров? – сказал редактор не совсем уверенно.

– Пусть попробуют в условиях фермерского хозяйства, – ответил Платон Самсонович.

– Надо посоветоваться с товарищами, – сказал редактор и включил вентилятор в знак того, что летучка окончена.

Вентилятор стоял на столе напротив него, и каждый раз, начиная совещание, Автандил Автандилович выключал его, и голова его прямо возвышалась над жирными лопастями вентилятора, и он был похож на пилота, прилетевшего издалека. Кончая совещание, он включал вентилятор, лицо его каменело, и тогда казалось, что он неподвижно улетает в нужном направлении.

На следующий день он сказал Платону Самсоновичу, что со штатом Айова следует подождать.

– Между нами говоря, перестраховщик, – Платон Самсонович кивнул в сторону редакторского кабинета.

Однажды под рубрикой «По тропе козлотура» появилось письмо работников сельскохозяйственного научно-исследовательского института с Северного Кавказа. Они писали о том, что с интересом следят за нашим начинанием и сами уже скрестили северокавказского тура с козой.

Первый тукоз, писали они, чувствует себя превосходно и быстро растет.

Комментируя письмо, Платон Самсонович от имени закавказских энтузиастов поздравил северокавказских коллег с большим успехом. При этом он добавил, что успех будет еще значительней, если они и в дальнейшем будут придерживаться разработанного им рациона кормления нового животного. Платон Самсонович писал, что всегда был уверен, что именно они, северокавказцы, как наши ближайшие соседи и братья, первыми подхватят передовой опыт.

Письмо пошло в номер без всяких изменений, кроме того, что Платон

Самсонович слово «турокоз» заменил на принятое у нас «козлотур».

Почему-то авторы письма обиделись на это невинное исправление и прислали на имя редактора опровержение, где писали, что они и не думали в кормлении своего турокоза придерживаться нашего рациона, а кормили и будут в дальнейшем кормить его, строго придерживаясь метода, разработанного собственным научным аппаратом института. Кроме того, они сочли необходимым заявить, что название «козлотур» антинаучно, ибо сам факт (а факты упрямая вещь!) скрещивания именно тура с козой, а не козла с турицей, говорит о гегемонии тура над козой, что и должно быть отражено в названии животного, если к вопросу подходить с научной точностью. Только если вам удастся скрестить козла с турицей, писали они, название «козлотур» можно будет считать оправданным, и то с некоторой натяжкой. Но в этом случае наши разногласия сами по себе отпадут, потому что речь будет идти о двух новых животных, полученных принципиально различными способами, что, естественно, будет отражено в двух различных названиях. Таким образом, вы будете продолжать свои эксперименты со своими козлотурами, а мы как стояли, так и будем стоять на своих турокозах. Примерно так звучало письмо товарищей с Северного Кавказа.

– Придется поместить, все-таки научные работники, – сказал Автандил Автандилович, показывая письмо Платону Самсоновичу. Он сам его принес к нам в отдел, как срочный материал.

Платон Самсонович пробежал его глазами и отбросил на стол.

– Только под рубрикой «Посмеемся над маловерами», – сказал он.

– Не имеем права, – возразил Автандил Автандилович. – Научные работники выражают свое мнение. К тому же в первой заметке вы допустили отсебятину...

– Страна знает козлотура, – твердо возразил Платон Самсонович, – а турокоза никто не знает.

– Это верно, – согласился Автандил Автандилович, – и в республиканской прессе принято наше название, но откуда вы взяли, что они пользовались нашим рационом?

– Каким же они могли пользоваться? – сказал Платон Самсонович и пожал плечами. – Пока что все пользуются нашим рационом...

– Ну хорошо, – согласился Автандил Автандилович, немного подумав, – приготовьте толковый ответ, и мы дадим оба материала в порядке дружеской дискуссии.

– Сегодня же подготовлю, – оживился Платон Самсонович и, достав красный карандаш, придвинул к себе письмо научных работников. Автандил Автандилович вышел из кабинета.

– Яйцо курицу учит, – неопределенно кивнул головой Платон Самсонович, так что я не понял, то ли он имеет в виду редактора, то ли своих неожиданных оппонентов.

Через несколько дней обе статьи появились в газете. Ответ Платона

Самсоновича назывался «Коллегам из-за хребта» и был выдержан в наступательном духе.

Он начал издавека. Подобно тому, писал Платон Самсонович, как Америку открыл Колумб, а названа она Америкой в честь авантюриста Америго Веспуччи, который, как известно, не открывал Америки, так и северокавказские коллеги пытаются дать свое название чужому детищу.

Когда в первом письме наших коллег мы исправили неблагозвучное и неточное название «турукоз» на благозвучное и общепринятое «козлотур», мы считали, что это просто описка, тем более само наивное и в известной мере незрелое содержание письма таило в себе возможность такого рода описки или даже ошибки. Все это мы видели с самого начала, но все-таки поместили письмо в газете, потому что считали своим долгом поддержать пусть еще робкое, слабое, но все-таки чистое в своей основе стремление быть на уровне передовых опытов нашего времени.

Но что же оказалось? Оказалось, то, что мы принимали за описку или даже ошибку, было ложной, вредной, но все-таки системой взглядов, а с системой надо бороться, и мы поднимаем перчатку, брошенную из-за хребта.

Может быть, продолжал Платон Самсонович, название «турукоз», при всей своей бестактности, с научной точки зрения более точно отражает существо нового животного? Нет, и здесь промахнулись коллеги из-за хребта!

Именно в названии «козлотур» наиболее точно отражается существо нового животного, потому что в нем удачно подчеркивается первичность человека над дикой природой, ибо домашняя коза, прирученная еще древними греками, как более разумное начало, стоит в нашем варианте на первом месте, тем самым подтверждая, что именно человек завоевывает природу, а не наоборот, что было бы чудовищно.

Но, может быть, название «турукоз» соответствует хорошим традициям нашей мичуринской агробиологии? Опять же не получается, коллеги из-за хребта! Возьмем для примера новые сорта яблок, выведенные Мичуриным, такие, как бельфлер-китайка и кандиль-китайка, названия их давно приняты и одобрены народом. Здесь, как и в нашем случае, дикое китайское яблоко занимает достаточно почетное, подобающее ему второе место.

Что касается предложения скрестить турицу с козлом, то выглядит оно в устах научных работников довольно странно, писал дальше Платон Самсонович.

Во-первых, совершенно очевидно, что ввиду нежелательных и даже пугающих козла размеров турицы вероятность покрытия приближается к нулю.

Но допустим, такое покрытие произойдет. Что мы и наше хозяйство будем от этого иметь? На этот вопрос легко ответить, если мы обратимся к международному, а также отечественному мулопроизводству.

Многовековой опыт мулопроизводства ясно доказывает, что от скрещивания жеребца с ослицей получается лошак, тогда как от скрещивания осла с лошастью получается мул. Лошак, как известно, животное недоразвитое, болезненное,

слабое, к тому же проявляет склонность кусаться, тогда как мул отличается хозяйственно полезными свойствами и высоко ценится в нашем народном хозяйстве, особенно в южных республиках. Вопрос о продвижении мула на север и выведении зимостойких пород сейчас нами не рассматривается. Хотя известный пробег мулов от Москвы до Ленинграда, запряженных в сани с полной кладью, сделанный ими за десять дней в условиях морозной зимы, о многом говорит каждому непредубежденному наблюдателю (см. БСЭ, том II, стр. 206). Из сказанного становится совершенно ясно, что козлотур – это тот же лошак, если мы его будем выводить методом, предложенным северокавказскими коллегами, тогда как козлотура можно и нужно приравнять к мулу, если его выводить нашим уже неоднократно проверенным способом. Вот почему мы опровергаем предложение северокавказских коллег, как попытку – пусть невольную, но все-таки попытку – направить наше животноводство по ложному идеалистическому пути.

По мнению коллег из-за хребта, получается, что все наши козлотуры шагают не в ногу и только единственный северокавказский турокоз шагает в ногу. Но с кем?

Таинственный лаконизм последней фразы звучал как грозное предупреждение.

Недели две после этого мы ждали ответа северокавказцев, но они почему-то замолчали, и это сильно обеспокоило редактора.

– А может, у них козлотур умер и они теперь стыдятся продолжать дискуссию? – предположил однажды Платон Самсонович.

– А вы позвоните в институт и все выясните, – приказал Автандил Автандилович.

– А не получится, что мы сдаем позиции, если первыми позвоним? – сказал Платон Самсонович.

– Наоборот, – возразил Автандил Автандилович, – это только подтвердит нашу уверенность в правоте.

Соединившись с институтом, Платон Самсонович узнал, что турокоз жив и здоров, а дискуссию они прекратили, решив делом доказать, чьи турокозы окажутся более жизненными.

– Чьи козлотуры, – поправил Платон Самсонович и положил трубку. – Проглотили, – подмигнул он мне и, потирая руки, сел на свое место.

* * *

Мне не терпелось наконец своими глазами увидеть настоящего живого козлотура, но Платон Самсонович, хотя и одобрял мой план, все же не спешил посылать меня в деревню. Наконец наступило время.

До этого только один раз я был в командировке, и то не совсем удачно.

На рассвете мы вышли в море с передовой бригадой рыболовецкого колхоза, расположенного рядом с городом. Все было чудесно: и сиреневое море, и старый баркас, и ребята, ловкие, сильные, неутомимые. Они выбрали рыбу из ставника, но на обратном пути вместо того, чтобы идти на рыбозавод, свернули в сторону небольшого мыска, мимо которого мы должны были пройти. Со стороны берега к этому мыску тянулись женщины с ведрами и кошелками. Я понял, что роковой встречи не избежать.

– Ребята, может, не стоит, – сказал я, когда баркас уткнулся носом в песок. Возможно, я это сказал слишком поздно.

– Стоит, – радостно заверили они, и начался великий торг. Через пятнадцать минут всю рыбу выменяли на деньги и продукты натурального хозяйства. Мы снова вышли в море. Я пытался им что-то сказать. Рыбаки вежливо меня слушали, нарезаая хлеб и раскладывая закуски. Трапеза была подготовлена, меня пригласили, и я понял, что отказаться было бы неслыханным пижонством.

Мы наелись, немного выпили и тут же уснули сладким, безмятежным сном.

Потом они мне объяснили, что рыбы было слишком мало и рыбозавод такое количество все равно не берет, а план они все равно перевыполняют.

Я понял, что очерк писать нельзя, и мне ничего не оставалось, как написать «Балладу о рыбном промысле», где я воспел труд рыбаков, не уточняя, как они воспользовались плодами своих трудов. Баллада была хорошо принята в редакции, она прошла как новая, столичная форма очерка.

Однако пора возвратиться к козлотурам. Готовилось областное совещание по обмену опытом разведения козлотуров. К этому времени их распределили между наиболее зажиточными колхозами, с тем чтобы приступить к массовому размножению. Некоторые председатели пытались увильнуть от этого нового дела под тем предлогом, что они и коз давно не держат, но их пристыдили и заставили купить соответствующее количество коз. Наконец козы были куплены, но потом стали поступать жалобы, что некоторые козлотуры проявляют хладнокровие по отношению к козам.

По этому поводу редактор поставил вопрос об искусственном осеменении коз, но Платон Самсонович стал утверждать, что такой компромисс на руку нерадивым хозяйственникам. Он сказал, что хладнокровие козлотура есть отражение хладнокровия самих председателей ко всему новому.

Как раз в это время из села Ореховый Ключ пришло письмо, в котором безмяннй колхозник жаловался, что их председатель нарочно травит козлотура собаками, держит под открытым небом и морит голодом. Колхозники, писал он, со слезами смотрят на мучения нового животного, но сказать не могут, потому что боятся председателя. Заметка была подписана псевдонимом «Обиженный, но Справедливый».

– Конечно, возможны преувеличения, – сказал Платон Самсонович, показывая мне письмо, – но сигнал есть сигнал. Поезжай в Ореховый Ключ и все посмотри

своими глазами. – Платон Самсонович на минуту задумался и добавил: – Я знаю этого председателя, зовут его Илларион Максимович. Хозяин неплохой, но консерватор, кроме своего чая, ничего не видит. В общем, – сказал Платон Самсонович и, вытянув руку, стал щупать воздух растопыренными пальцами, словно пытаюсь нащупать очертания моей будущей статьи, – примерно так должна выглядеть твоя статья: «Чай хорошо, но мясо и шерсть козлотура еще лучше».

– Хорошо, – сказал я.

– Помни, – остановил он меня в дверях, – от этой командировки многое зависит.

– Конечно, – сказал я.

Платон Самсонович задумался.

– Что-то я еще тебе хотел сказать... Да, не проспи утреннюю машину.

– Что вы! – воскликнул я и пошел оформлять командировку.

Я взял в отделе писем новый редакционный блокнот, купил два карандаша на случай, если потеряю ручку, и перочинный ножик, чтобы точить карандаши. Мне хотелось уберечь себя от любых случайностей.

* * *

Автобус мощно и мягко скользил по шоссе. Справа от дороги сквозь зелень садов и белые домики прорывалось море, теплое даже на вид. Оно казалось насыщенным и успокоенным обилием летнего тепла и купальщиц.

Слева проплывали зеленые взгорья, покрытые созревающей кукурузой и мандариновыми плантациями. Изредка открывались тунговые плантации с лопухими деревцами, усеянными гроздьями плодов.

Во время войны солдаты строительного батальона, стоявшего в этих местах, срывали тунговые плоды, немного похожие на незрелые яблоки, но страшно ядовитые.

Пробовали, несмотря на строжайший запрет. Они, наверное, думали, что это им говорится так, для остратки, да и время было голодное. Обычно их откачивали, но бывали, говорят, и смертельные случаи.

Порой ветерок, словно срезанный автобусом с поворота, так он был неожидан, доносил далекий запах прелого папоротника, прокаленного солнцем навоза, молочный дух зреющей кукурузы, и все это сладко и грустно напоминало детство, деревню, родину...

Почему так сильна над нами власть запахов? Почему воспоминание не может с такой силой расколыхнуть пережитое, как связанный с ним знакомый запах? Может, дело в его неповторимости, ведь запах нельзя вспоминать отдельно от

него самого, так сказать, повторить воображением. И когда он повторяется натурально, он с первозданной свежестью выхлестывает наружу все, что было связано с ним. А зрительные и слуховые впечатления мы часто повторяем своими воспоминаниями, и, может быть, потому они в конце концов притупляются...

Пассажиры, покачиваясь, сидели на мягких пружинящих сиденьях. Верх автобуса был застеклен каким-то необыкновенным голубым стеклом. Так что и без того голубое небо сквозь это стекло делалось неправдоподобно голубым. Стекло это как бы показывало небу, каким оно должно быть, а пассажирам – каким его надо видеть.

Этот автобус только недавно передали транспортной конторе. До этого он развозил интуристов. Иногда я его встречал у нас в городе перед Ботаническим садом, или Старой крепостью, или еще где-нибудь.

Сейчас он был заполнен колхозницами, возвращающимися домой. Каждая при себе держала туго набитую корзину или кошелку, из которой торчала неизменная связка бубликов. Некоторые колхозницы не без горделивости держали в руках китайские термосы, похожие на спортивный кубок и на снаряд одновременно.

Цепи гор медленно проплывали на горизонте. Самые дальние из них и самые высокие были покрыты первым снегом, который, наверное, выпал сегодня ночью, потому что еще вчера его не было. Сейчас их вершины четко и чисто сверкали в небе.

Более близкая линия гор была темно-синяя от лесов – там еще до снега далеко.

Внезапно с какого-то поворота я увидел на уровне этой более близкой линии гор гряду голых утесов, и что-то в груди у меня толкнулось радостно и испуганно.

Под этими утесами лежало наше село. С детства они мне казались страшно загадочными, и хотя до них было недалеко, правда, дорога труднопроходимая, но я так и не поднялся туда ни разу. Сейчас я вдруг пожалел, что в стольких местах бывал, а там не был ни разу.

Каждое лето с самого раннего детства я жил несколько месяцев в доме бабушки. Помню, меня оттуда всегда тянуло назад домой. Даже не столько домой, сколько именно в город.

Как я скучал по нему, как сладко было вспоминать тот особый городской запах пыли, пропитанный запахом бензина и резины. Сейчас мне трудно это понять, но тогда я с нежностью смотрел в сторону заката: там за круглой и мягкой по своим очертаниям горой был наш город, и я подсчитывал дни, оставшиеся до конца каникул...

Потом, когда мы приезжали в город, помню первые шаги по асфальту, необыкновенную, радостную легкость в ногах, которую я приписывал удобствам гладкой городской дороги, а на самом деле, я думаю, этой легкостью я был обязан бесконечным хождениям по горным тропкам, чистому воздуху гор, простой и здоровой еде.

Сейчас, где бы я ни жил, у меня нет и в помине той жаркой радостной тяги в город. Наоборот, я все чаще и чаще чувствую, что мне не хватает бабушкиного

дома.

Может быть, потому, что дедушкиного дома уже нет – старые умерли, а молодые переехали в город или поближе к нему. А когда он был, все не хватало времени бывать там чаще, я его все оставлял про запас. И вот теперь там никого нет, и мне кажется, что я ограблен, что какой-то мой главный корень обрублен.

Даже если я там бывал редко, самой своей жизнью, своим очажным дымом, доброй тенью своих деревьев он помогал мне издали, делал меня смелей и уверенней в себе. Я был почти неуязвим, потому что часть моей жизни, мое начало шумело и жило в горах. Когда человек ощущает свое начало и свое продолжение, он щедрей и правильней располагает своей жизнью и его трудней ограбить, потому что он не все свои богатства держит при себе.

Мне не хватает дедушкиного дома с его большим зеленым двором, со старой яблоней (обнимая ее ствол, лезла к вершине могучая виноградная лоза), с зеленым шатром грецкого ореха, под которым, разостлав бычью или турью шкуру, мы валялись в самые жаркие часы.

Сколько недозрелых яблок посбивали мы с нашей старой яблони, сколько недозрелых орехов, покрытых толстой зеленой кожурой с еще нежной скорлупой, с еще не загустевшим ядрышком внутри!

Мне не хватает просторной кухни в дедушкином доме с ее земляным полом, с большим жарким очагом, с длинной тяжелой скамьей, стоящей у очага. На ней мы сидели по вечерам и слушали бесконечные охотничьи рассказы или рассказы о разрытых кладах в старых крепостях и о бесстрашных абреках. На этой скамье, бывало, дядя резал табак своим острым топориком, а потом, выхватив из очага горящий уголек, бросал его в горку нарезанного табака и медленно, с удовольствием коптил эту дымящуюся горку, чтобы она как следует просушилась и пропиталась ароматом древесного дыма.

Мне не хватает вечерней переключки женщин с холма на холм, или с котловины в гору, или с горы в ложбину.

Как одинок, как чист женский голос в холодеющем вечернем воздухе!

К вечеру куры вспоминают, что они все-таки родились птицами. И вот они начинают беспокойно кудахтать и, оглядывая ветки инжирного дерева, неожиданно взлетают, промахиваются, снова взлетают и наконец усаживаются на ветках во главе с гневно клекочущим золотистым петухом.

Тетка выходит из кухни с позвякивающим ведерком в руке, пригнувшись, на ходу хватая какую-нибудь хворостинку, чтобы отгонять теленка, и легкой походкой переходит двор. А навстречу из загона вопросительно мычат коровы, детским садом заливаются козлята под кукурузным амбаром.

И вот уже дедушка или кто-нибудь другой пригоняет коз. Они шумной гурьбой вливаются во двор с животами, почему-то больше оттопыренными на одну сторону. Самцы поигрывают, встают на дыбы, медленно падают друг на друга и сталкиваются, застревая рогами в рогах. Играют, – значит, хорошо выпаслись.

И вот уже выпустили козлят, и начинается дойка, и козлята бегут к матерям, а козы следят за ними с выражением глуповатой бдительности, потому что боятся спутать своих детенышей с чужими и все-таки путают, а детенышам все равно, тыкаются в первое попавшееся вымя. Я заметил, что козы по-настоящему узнавали своих детенышей только после того, как козленок несколько раз жадно подергает за сосцы. Тут она или прогоняет его, или успокаивается, словно боль, которую козленок причиняет ей, дергая за сосцы, бывает разная – от своего одна, от чужого совсем другая.

Почему-то с годами этих коз становилось все меньше, и коров становилось все меньше, и уже в доме часто не хватало молока. Того самого молока, о котором дедушка говорил, что раньше летом они его не успевали обрабатывать, и было непонятно, куда все это делось.

Я вспоминаю горницу с домотканым ковром на стене, на котором вышит огромный бровастый олень с женским лицом и печальными глазами.

Позади оленя маленький человек, ссутулившись, с каким-то жестоким усердием целится в него из ружья. Мне кажется, этот маленький человечек сердит на оленя за то, что олень такой большой, а он такой маленький, и я чувствую, что этот маленький человечек никогда не простит этой разницы, да ему и невозможно простить этой разницы, как невозможно сделать маленького человечка большим, а оленя маленьким.

И хотя олень на него не смотрит, по его печальным глазам видно, что он знает человека, который, ссутулившись, целится в него. И олень такой огромный, что промахнуться никак невозможно, и, он, олень, об этом знает, что промахнуться никак невозможно, а бежать некуда, ведь он такой большой, что его отовсюду видно. Раньше он, наверное, пробовал бежать, но теперь понял, что от этого сутулого человека никуда не убежишь.

Я подолгу смотрел на этот домотканый ковер, и любил оленя, и ненавидел этого охотника, особенно мне была противна его ссутуленная в жестоком усердии спина.

Мне не хватает теплых летних простынь, весь день провисевших на веранде и теперь пахнущих чистотой, летним днем, солнцем.

Нас, детей, укладывали раньше, и мы лежали, прислушиваясь к говору взрослых из кухни, к страху внутри себя, таинственно связанному с темнотой комнаты, с задумчиво поскрипывающими стенами, со смутно сереющими на стенах портретами умерших родственников.

Мне не хватает самих стен дедушкиного дома из прочных каштановых досок, наивно оклеенных газетными и журнальными листами, плакатами, дешевыми картинками.

Среди газетных и журнальных страниц двадцатых и тридцатых годов попадались иногда очень интересные вещи, и так уютно было читать их, лежа на полу или влезая на стул, на кушетку. А иногда я не удерживался и срывал какой-нибудь лист, чтобы перевернуть его и посмотреть, что будет дальше. Я перечитал все стены дедушкиного дома. И чего только там не было!

Огромная олеография – Наполеон оставляет горящую Москву. Всадники в треуголках, кремлевская стена и вдали громадное зарево пожара.

Несколько дореволюционных картин с религиозным сюжетом, с богом, рассевшимся на тучах, в сандалиях, перетянутых ремешком и чем-то похожих на наши горские чувяки из сыромятной кожи.

Архангел Гавриил, джигитуя на коне, копьем пронзает отвратительного дракона, и рядом наши советские плакаты с антирелигиозными и кооперативными сюжетами двадцатых и тридцатых годов. Один из них помню хорошо. Мужичок, горестно всплеснувший руками перед неожиданно, словно от библейского проклятья, разверзшимся мостом, в который провалилась его лошаденка вместе с телегой. Под этой поучительной картинкой была не менее поучительная подпись: «Поздно, братец, горевать, надо было страховать!»

Я не очень верю этому мужичку. Уж как-то слишком по-бабьи выражает он свое горе. Не успела лошадь провалиться, как он уже всплеснул руками и больше ничего не делает.

То, что я видел вокруг себя, подсказывало мне, что крестьянин навряд ли так легко расстанется со своей лошадью, он до конца будет пытаться спасти ее, удержать если не за вожжи, то хотя бы за хвост.

Однажды я долго глядел на этого мужичка, и вдруг мне показалось, что сквозь его усы и бородку проглядывает улыбка. Это было так неожиданно, что я даже испугался немного. Она проглядывала из щетины его лица, как маленький хищник из-за кустов. Конечно, мне это могло показаться, но, видно, могло показаться потому, что я чувствовал в нем какую-то фальшь.

Подпись под этой картинкой тоже вызывала недоумение. Я так до конца и не понял, что именно надо было страховать – лошадь или мост. Мне казалось, что все-таки лошадь. Но тогда получалось, что мост так и должен остаться проваливающимся, потому что, если он перестанет проваливаться, тогда и лошадь незачем будет страховать.

Может быть, самая трогательная и самая глубокая черта детства – бессознательная вера в необходимость здравого смысла. Следовательно, раз в чем-то нет здравого смысла, надо искать, что исказило его или куда он затерялся.

Детство верит, что мир разумен, а все неразумное – это помехи, которые можно устранить, стоит повернуть нужный рычаг. Может быть, дело в том, что в детстве мы еще слышим шум материнской крови, пронесившейся сквозь нас и вскормившей нас. Мир руками наших матерей делал нам добро и только добро, и разве не естественно, что доверие к его разумности у нас первично. А как же иначе?

Я думаю, что настоящие люди – это те, что с годами не утрачивают детской веры в разумность мира, ибо эта вера поддерживает истинную страсть в борьбе с безумием жестокости и глупости.

Дом дедушки считался зажиточным и хлебосольным. На моей памяти там, кроме нас, близких, перебивали сотни разных людей, начиная от случайных

пастухов, застигнутых непогодой во время перегона скота на летние пастбища, и кончая всякого рода уполномоченными и райкомовскими работниками.

В хозяйстве дяди было несколько коров и с полсотни коз. Помню, почти все коровы и большинство коз были записаны на кого-нибудь из родственников, в основном городских. Закон ограничивал поголовье скота в личной собственности крестьян, и в те годы в наших краях расцвел таинственный пустоцвет фиктивных дарений, продаж, покупок.

Только свиней, насколько я помню, разрешали держать в любом количестве. Может быть, учитывали, что слегка омусульманенные абхазцы свинину не едят и это послужит естественной преградой к излишнему накопительству.

Каких только ни делали ухищрений, чтобы сохранить скот, но, видно, сделать это было не просто или все эти труды себя не оправдывали, потому что с годами скотины становилось все меньше и меньше.

Я вспомнил, что во время войны мне с полгода пришлось пасти дядиных коз.

Странно, подумал я, с тех пор прошло столько лет, я окончил школу, потом институт, потом работа, а вот теперь мне предстоит встретиться с козами, которые за это время, как и я, повысили свой уровень и превратились в козлотуров.

И вдруг я отчетливо вспомнил то время, когда я дольше всего жил в доме бабушки, когда я еще был совсем мальчиком, а козы были еще козами, а не козлотурами, я вспомнил те далекие дни, а точнее – один день или, скорее, один вечер с его приключениями, которые мне тогда пришлось пережить.

* * *

Одним словом, шел сорок второй год. Я жил в горах в доме бабушки. Боязнь бомбежки, а главное, военная голодуха забросили меня в этот относительно сытый и спокойный уголок Абхазии.

Город наш бомбили всего два раза. Скорее всего, немцы сбросили бомбы, предназначенные для более важных целей, но туда их, наверное, не подпустили.

После первой же бомбежки город опустел. Застольные ораторы из приморских кофеен благоразумно приостановили свои бесконечные беседы и удалились в окрестные деревни есть абхазскую мамалыгу, авторитет которой быстро подымался.

В городе остались только необходимые и те, кому некуда было ехать. Мы не были необходимыми, и нам было куда ехать, поэтому мы уехали.

Наши деревенские родственники, посоветовавшись, распределили нас между собой, по-своему учитывая возможности каждого из нас.

Старший брат, как человек, уже отравленный городом, захотел остаться в

ближайшей к нему деревне. Вскоре его оттуда взяли в армию.

Сестру отправили в семью дальнего, но богатого и поэтому казавшегося близким родственника. Меня, как самого младшего и бесполезного, отдали дяде в горы. Мама осталась где-то посередине – в доме своей старшей сестры.

К этому времени в доме дедушки оставалось два десятка коз и три овцы. Не успел я разобраться, что к чему, как оказался приставленным к ним.

Постепенно я научился подчинять своей воле это небольшое, но строптивное стадо. Нас связывали два древних магических восклицания: «Хейт! Ийо!» Они имели множество оттенков и смыслов, в зависимости от того, как их произносить. Козы их отлично понимали, но иногда, когда им это было выгодно, делали вид, что спутали оттенки.

Оттенков и в самом деле было много. Например, если произносить врасстяжку, вольно и широко: «Хейт! Хейт!» – это означало: паситесь спокойно, вам ничего не угрожает.

Эти же звуки можно было произносить с некоторым педагогическим укором, и тогда они означали: «Вижу, вижу, куда вы сворачиваете!» – или что-нибудь в этом роде. А если произносить резко и быстро: «Ийо! Ийо!» – надо было понимать: «Опасность! Назад!».

Козы обычно, услышав мой голос подымали головы, как бы стараясь уяснить себе, что именно от них на этот раз требуется.

Паслись они всегда с каким-то брезгливым выражением на морде. Меня иногда раздражало, что они бросали начатую ветку и с неряшливой жадностью переходили к другой. Мы за обедом берегли каждую крошку, а они привередничали. Это было несправедливо. Обрывая листики с кустов, старались дотянуться до самых свежих и далеких, для чего приподнимались на задних ногах, и в это время в них было что-то бесстыжее, может быть, потому, что они становились похожими на людей. Гораздо позднее, когда я увидел на репродукциях козлоногих людей, кажется Эль Греко, я подумал, что человеческое бесстыдство художник пытался передать через уродство козлоногих людей.

Пастись они любили на крутых, обрывистых склонах поблизости от горного потока. Я уверен, что шум воды возбуждал их аппетит, как, впрочем, и у людей. Недаром в пути останавливаются перекусить возле ручья или речки.

Мне кажется, кроме прямой необходимости ее, шум воды делает еду сочнее, приятнее.

Овцы обычно шли позади коз, они паслись, низко наклонив голову, как бы вынюхивая траву. Выбирали открытые, по возможности ровные места. Зато, если они пугались чего-нибудь и пускались вскачь, их невозможно было остановить. Курдюки на ходу шлепали по задам, каждый шлепок еще больше пугал их и подталкивал вперед, и они летели сломя голову, подгоняемые многоступенчатым возбуждением. Набегавшись до дури, они забивались в кусты и отдыхали, по-собачьи разинув рты и жарко дыша боками.

Козы для отдыха выбирали самые каменистые и возвышенные места.

Укладывались где почище. Самый старый козел обычно на самой вершине. У него были устрашающие рога, ключья свалывшейся и желтой от старости шерсти свисали по бокам. Чувствовалось, что он понимает свою роль: двигался медленно, важно покачивая длинной бородой звездочета. Если молодой козел по забывчивости занимал его место, он спокойно подходил к нему и сталкивал боковым ударом рогов, при этом он даже не смотрел на него.

Однажды из стада исчезла коза. Я сбился с ног, бегая по кустам, разрывая одежду о колючки, крича до хрипоты. Так и не нашел. Возвращаясь, случайно поднял голову и вижу – она стоит на дереве, на толстой ветке дикой хурмы. Взобралась по кривому стволу. Наши взгляды встретились, она нагло смотрела на меня желтыми неузнавающими глазами и явно не собиралась слезать. Я огрел ее камнем, она ловко спрыгнула и побежала к своим.

Думаю, что козы – самые хитрые из всех четвероногих. Бывало, только зазеваешься, а их уж и след простыл, как будто растворились среди белых камней, ореховых зарослей, в папоротниках.

Как жарко, как тревожно было искать их, бегая по узким растрескавшимся тропкам, через которые вспыхивали зеленые молнии ящериц. Случалось, что мелькнет у ног и змейка, взлетишь, как подброшенный, чувствуя подошвой ноги, которой чуть было не наступил на нее, упругий холод змеиного тела, и еще долго бежишь, ощущая ногами необоримую, почти радостную легкость страха.

А как странно было остановиться, прислушиваясь к шороху кустов: не там ли? Прислушиваясь к шелесту кузнечиков, к далекому в могучей синеве пенью жаворонков, случайному голосу человека на невидной отсюда проселочной дороге, прислушиваясь к медленным тугим ударам сердца, втягивая телесный запах разомлевшей на солнце зелени – сладкое томление летней тишины.

В хорошую погоду я лежал на траве в тени большой ольхи, прислушиваясь к привычному треску «кукурузников», летящих за перевал. Там шли бои.

Однажды из-за хребта с каким-то паническим грохотом вылетел «кукурузник» и почти камнем стал падать вниз, в провал Кодорской долины, и потом, уже опустившись совсем низко, так и летел до самого моря. Я всей шкурой почувствовал, с каким человеческим ужасом он перевалил через хребет, спасая себя, видимо, от немецкого истребителя. Тень его, не по-земному быстрая, пробежала по лугу совсем близко от меня, чиркнула табачную плантацию, а через мгновение летела далеко внизу рядом с дельтой Кодора.

Изредка высоко-высоко пролетал немецкий самолет. Мы его узнавали по замирающему вою, чем-то напоминающему писк малярийного комара. Обычно, когда он приближался к городу, начинали палить зенитки и видно было, как вокруг него вспыхивали одуванчики взрывов, а он шел и шел сквозь них, как замороженный. Так за всю войну и не увидел, чтобы подбили самолет.

Как-то один наш родственник приехал из города, куда гонял продавать свиней, и рассказал, что брат мой ранен, лежит в госпитале в Баку и ждет не дождется, когда к нему приедет мама. Весть всех всполошила, надо было как можно быстрее увидеться с мамой. Оказалось, что, кроме меня, послать было некого, и я

стал собираться в дорогу.

Меня накормили сыром и мамалыгой, дед дал мне одну из своих палок, и я пустился в путь, хоть день шел на убыль и солнце стояло над горизонтом на высоте дерева. Дорогу я помнил довольно плохо, вернее, расположение дома, где жила мама, но объяснения не стал слушать, чтобы не передумали меня посылать.

Идти предстояло через лес по гребню горы, потом надо было спуститься вниз на дорогу, по которой свозили бревна, и дальше по ней до самого села.

Как только я вошел в лес, сразу стало прохладно, как будто вошел в воду, и летний день остался позади.

Я вдыхал чистую, сырую прохладу леса, слышал чем-то волнующий шелест зеленых вершин и быстро шел по тропе. Чем глубже я входил в лес, тем упорней и бодрей постукивала моя палка по твердой, упруго проплетенной корнями земле.

Краем глаза я замечал красоту мощных темно-серебристых стволов бука, неожиданно милых полянок с яркой пушистой травой, уютных подножий кряжистых каштанов, заваленных каленой прошлогодней листвой. Хотелось полежать на этой листве, положив голову на мощные, покрытые мхом корни. Иногда в просветах деревьев открывалась дымчато-зеленая долина с морем, стоящим между землей и небом, как мираж. Вечерело.

Неожиданно из-за поворота появились две девочки, испуганные и обрадованные нашей встречей. Я их знал, они были из нашего села, но теперь казались странными, чем-то не похожими на себя. Разговаривали, опустив головы, тихими, почти виноватыми голосами. В них появилось что-то чуткое, лесное, застенчивое. Одна из них держала свои башмаки в кошелке и теперь стояла, длинной голой ногой смущенно почесывая другую. Я догадался, что она старается спрятать хоть одну босую ногу.

Постепенно мне передалось их смущение, я не знал, что говорить, и охотно распрощался с ними. Они тоже попрощались и тихо, даже как-то вкрадчиво пошли дальше.

Вскоре я увидел перед собой между потемневшими деревьями красновато-желтую проселочную дорогу, издали похожую на горный поток; я обрадовался, что смогу идти по ровному месту, и стал быстро спускаться, едва-едва притормаживая палкой, чтобы не сорваться в заросли сумрачного рододендрона.

Я почти выкатился на дорогу. Ноги мои дрожали от перенапряжения, я весь вспотел, но возбуждение усиливалось от запаха бензина и теплой, усталой за день пыли. Знакомый с детства, волнующий городской запах. Видно, я здорово соскучился по городу, по дому, и, хотя отсюда до нашего дома было еще дальше, чем от горной деревушки, проселочная дорога казалась дорогой к нему.

Я шел, стараясь в сумерках разглядеть под ногами следы автомобильных шин, и радовался, заметив особенно отчетливый рубчатый узор. Чем дальше я шел, тем светлее становилась дорога, потому что огромная рыжая луна вылезала над зубчатой полоской леса.

Ночью в горах мы часто смотрели на луну. Мне говорили, что на ней виден пастух со стадом белых коз, но я так и не мог разглядеть пастуха с его стадом. Видно, надо было с раннего детства видеть этого пастуха. Глядя на холодный диск луны, я видел очертания скалистых гор, и мне делалось грустно, может быть, оттого, что они были так страшно далеки от нас и так похожи на наши горы.

Сейчас луна напоминала большой закопченный круг горного сыра. С каким удовольствием я погрыз бы его острый, пропахший дымом ломоть, да еще с горячей мамалыгой!

Я ускорил шаги. По обе стороны дороги шел мелкий лесок, ольховая поросль, иногда расчищенная под кукурузное поле или табачную плантацию. Было очень тихо, только стук моей палки оживлял тишину. Стали появляться крестьянские дома с чистенькими игрушечными двориками, с жарким светом очажного костра, уютно трепыхающегося из приоткрытых кухонных дверей.

Я жадно прислушивался к смутным, а иногда вдруг отчетливым голосам, доносившимся оттуда.

– Выгони собаку, – услышал я чей-то мужской голос. Дверь кухни распахнулась, и сразу же в мою сторону залаяла собака. Я ускорил шаги и, оглянувшись, заметил в красном квадрате распахнутой двери темную фигуру девушки. Она неподвижно стояла, вглядываясь в темноту.

Боясь собак, я теперь старался бесшумно проходить мимо домов.

Наконец открылась широкая поляна с большим ореховым деревом посередине, со скамейками вокруг ствола.

Днем здесь обычно бывало шумно, народ толпился у правления колхоза, магазина, амбаров. Сейчас все выглядело нежилым, заброшенным и в свете луны страшноватым.

Я помнил, что недалеко от сельсовета надо было свернуть с дороги на тропинку влево. Но тропинок оказалось несколько, и я никак не мог припомнить, какая из них приведет меня к цели.

Я остановился перед одной из таких тропок, уходящих в заросли дикого орешника, не решаясь свернуть на нее. Та ли? Вроде орешника тогда не было. А может быть, был? Минутами мне казалось, что я вспоминаю тропу по множеству мелких признаков: по извиwu ее, по канавке, отделяющей ее от улицы, по кустам орешника. А потом вдруг казалось, что и канавка не та, и орешник не тот, и тропа совсем незнакомая и враждебная.

Я стоял, переминаясь с ноги на ногу, слушая верещанье цикад, глядя на замороженно-неподвижные кусты, на луну – уже высокую, бледную, почти слепящую, как зеркало.

Неожиданно на тропу выкатилось что-то черное, поблескивающее и побежало в мою сторону. Не успел я шевельнуться, как большая сильная собака бесцеремонно обнюхала меня, тыкаясь мне в ноги мокрым сопящим носом. Через мгновение на тропу вышел человек с легким топориком на плече. Он отогнал собаку. Теперь я понял, почему она так спешила обнюхать меня: боялась, не

успеет. Собака отскочила, покружилась, повизгивая от желания угодить хозяину, потом замерла у кустов, внюхиваясь в какой-то след.

Человек, подпоясанный уздечкой, видно, искал лошадь, подошел ко мне, вглядываясь и удивляясь, что не узнает меня.

– Чей ты, что здесь делаешь? – спросил он сердито оттого, что не узнал. Я сказал, что ищу дом дяди Мексута, мужа маминой сестры.

– Зачем он тебе? – спросил он, теперь восторженно удивляясь.

Я понял, что крестьянское любопытство непобедимо, и выложил все.

Пока я рассказывал ему, что и как, косясь на собаку и стараясь не упускать ее из виду, он качал головой, прицокивал языком и поглядывал на меня, как бы жалея, что мне приходится заниматься такими недетскими делами.

– А Мексут живет совсем рядом, – сказал он, указывая топориком в сторону тропы, куда я собирался идти.

Он стал объяснять дорогу, то и дело обрывая самого себя, чтобы лишний раз удивиться, порадоваться, до чего он, этот Мексут, близко живет и до чего просто к нему пройти. Благодарный за встречу и за то, что Мексут так близко живет, я не стал ни о чем переспрашивать. Человек позвал собаку. Я услышал в тишине ее приближающееся дыхание. Мощное тело выметнулось из-за кустов. Она подбежала к хозяину, присела, шлепая хвостом по траве, мимоходом вспомнив обо мне, еще раз быстренько обнюхала: так проверяют документ, когда уверены, что он в порядке.

– Совсем близко, отсюда докричать можно, – сказал он уже на ходу, как бы думая вслух и радуясь, что мне так здорово повезло.

Собака рванулась вперед, шаги человека стихли, и я остался один.

Я пошел по тропе, густо обросшей диким орехом и кустами ежевики. Порой кусты смыкались над тропой, я отодвигал их палкой и быстро проходил под ними. Все же мокрые ветки иногда нахлестывали сзади, и я вздрагивал от возбуждающего холода росы. Так я шел некоторое время, потом кусты раздвинулись, стало гораздо светлее. Я вышел на открытое место и увидел белое кладбище, озаренное белой луной.

Холодея от страха, я вспомнил, что когда-то проходил мимо него, но тогда это было днем и оно не произвело на меня никакого впечатления. Вспомнил, что сбил тогда с яблони несколько яблок. Я нашел глазами дерево, и, хотя оно сейчас казалось совсем другим, я старался вернуть себе то состояние беззаботности, когда сбивал с него яблоки. Но это не помогло. Дерево неподвижно стояло в свете луны с темно-синей листвой и бледно-голубыми яблоками. Я тихо прошел под ним.

Кладбище напоминало карликовый городок, с железными оградами, зелеными холмиками могил, игрушечными дворцами, скамеечками, деревянными и железными крышами. Казалось, люди, после смерти сильно уменьшившись и поэтому став злее и опаснее, продолжают жить тихой, недоброй жизнью.

Возле нескольких могил стояли табуретки с вином и закуской, на одной даже горела свеча, прикрытая стеклянной банкой с выбитым днищем. Я знал, что это такой обычай – приносить на могилу еду и питье, но все равно сделалось еще страшнее.

Пели сверчки, свет луны белил и без того белые надгробья, и от этого черные тени казались еще черней и лежали на земле, как тяжелые, неподвижные глыбы.

Я старался как можно тише пройти мимо могил, но палка моя глухо и страшно стучала о землю. Я ее взял под мышку, стало совсем тихо и еще страшней. Вдруг я заметил крышку гроба, прислоненную к могильной ограде рядом с еще не огороженной свежей могилой.

Я почувствовал, как по спине подымается к затылку тонкая струйка ледяного холода, как эта струйка подошла к голове и, больно сжав на затылке кожу, приподняла волосы. Я продолжал идти, все время глядя на эту крышку, красновато поблескивающую в лунном свете. Я тогда еще не знал, что по мусульманскому обычаю покойника хоронят без крышки, видимо, чтобы облегчить ему воскресение. Гроб накрывают досками наподобие крыши.

Я был уверен, что покойник вышел из своей могилы, прислонил крышку гроба к ограде и теперь ходит где-нибудь поблизости или, может быть, притаился за крышкой и ждет, чтобы я отвернулся или побежал.

Поэтому я шел, не шевелясь и не убыстряя шагов, чувствуя, что главное – не сводить глаз с крышки гроба. Под ногами зашумела трава, я понял, что сошел с тропы, но продолжал идти, не выпуская из виду крышку. Вдруг я ощутил, что проваливаюсь в какую-то яму.

Я успел увидеть полоснувшую небо луну и шлепнулся на что-то шерстистое, белое, рванувшееся из-под меня в сторону. Я упал на землю и лежал с закрытыми глазами, дожидаясь своей участи. Я чувствовал, что он или, вернее, оно где-то рядом и теперь я полностью в его власти. В голове мелькали картины из рассказов охотников и пастухов о таинственных встречах в лесу, о случаях на кладбищах.

Оно медлило и медлило, страх сделался невыносимым, и я, собрав силы, распахнул глаза, как будто включил свет.

Сначала я никого не увидел, а потом в темноте заметил что-то белеющее, качающееся. Я чувствовал, что оно внимательно следит за мной. Особенно страшно было, что оно качалось.

Не знаю, сколько времени прошло. Я стал различать запах свежескопанной нагретой за день земли и какой-то очень знакомый, обнадеживающий, почти домашний запах. Оно, все еще покачиваясь, белело в углу. Но ужас, длящийся без конца, перестает быть ужасом. Я почувствовал боль в ноге. Падая, я ее сильно подвернул, и теперь мне очень хотелось ее вытянуть.

Я долго вглядывался в него. Расплывающееся белое пятно принимало знакомые очертания, в какое-то мгновение я понял, что призрак превратился в козла, и разглядел в темноте бородку и рога. Я давно знал, что дьявол принимает вид козла, и немного успокоился, потому что это было ясно. Я только не знал, что

он при этом может пахнуть козлом.

Я осторожно вытянул ногу и заметил, что оно насторожилось, вернее, перестало жевать жвачку и только продолжало странно покачиваться.

Я замер, и оно снова зажевало губами. Я поднял голову и увидел край ямы, озаренный лунным светом, прозрачную полосу неба со светлой звездочкой посередине. Наверху прошелестело дерево, было странно снизу чувствовать, что там потянул ветерок. Я посмотрел на звездочку, и мне показалось, что и она покачнулась от ветра. Что-то глухо стукнуло: с яблони слетело яблоко. Я вздрогнул и почувствовал, что становится прохладно.

Мальчишеский инстинкт подсказывал, что бездействие не может быть признаком силы, и, так как оно продолжало жевать, бесплотно глядя сквозь меня, я решил попробовать выбраться.

Я осторожно встал и, вытянув руку, убедился, что, даже подпрыгнув, не смог бы достать руками до края. Палка моя осталась наверху, да и она вряд ли могла помочь.

Яма была довольно узкая, и я попробовал, упираясь руками и ногами в противоположные стенки, вскарабкаться наверх. Кряхтя от напряжения, я немного поднялся, но одна нога, та, которая подвернулась, соскользнула со стенки, и я шлепнулся снова.

Когда я упал, оно испуганно вскочило на ноги и шарахнулось в сторону. Это было самое неосторожное с его стороны. Я осмелел и подошел к нему. Оно молча забилося в угол. Я осторожно протянул ладонь к его морде. Оно тронуло губами, тепло дохнуло на нее, понюхало и фыркнуло по-козлиному, упрямо мотнув головой.

Я окончательно убедился, что он никакой не дьявол, просто попал в беду, как и я. Во время моего пастушества, бывало, козлы забирались в такие места, что сами потом не могли выбраться.

Я сел с ним рядом на землю, обнял его за шею и стал греться, прижимаясь к его теплому животу. Я попытался уложить его, но он продолжал упрямо стоять. Зато он начал лизать мою руку, сначала осторожно, потом все смелее и смелее, и язык его, гибкий и крепкий, шершаво почесывал кисть моей руки, слизывая с нее соль. От этого колючего и щекочущего прикосновения было приятно, и я не отнимал руки. Козел мой совсем вошел во вкус и уже стал прихватывать острыми зубами край моей рубахи, но я закатал рукав и дал ему попасть на свежем месте.

Он долго лизал мою руку, а я почувствовал, что, даже если бы показалось над ямой голубое в свете луны лицо покойника, я бы только крепче прижался к моему козлу и мне было бы почти не страшно. Я впервые узнал, что значит живое существо рядом.

Наконец ему надоело лизать мою руку, и он неожиданно сам улегся рядом со мной и снова принялся за жвачку.

Было все так же тихо, только свет луны сделался прозрачней, а звездочка

передвинулась на край полоски неба. Стало еще прохладней.

Вдруг я услышал приближающийся топот копы, сердце бешено забилося.

Топот делался все отчетливей и отчетливей, иногда раздавалось металлическое пощелкивание подков о камни. Я испугался что всадник свернет в сторону, но топот приближался, твердый и сильный, и я уже слышал дыхание коня, поскрипывание седла. Я замер от волнения, топот прошел почти над самой головой, и тогда я вскочил и закричал:

– Эй! Эй! Я здесь!

Лошадь остановилась, в тишине я различил костяной звук лошадиных зубов, грызущих удила. Потом раздался нерешительный мужской голос:

– Кто там?

Я рванулся навстречу голосу и закричал:

– Это я! Мальчик!

Некоторое время человек молчал, потом я услышал:

– Что за мальчик?

Голос мужчины был твердым и недоверчивым. Он боялся ловушки.

– Я мальчик, я из города, – сказал я, стараясь говорить не покойническим, а живым голосом, отчего он сделался странным и противным.

– Зачем туда залез? – жестко спросил голос. Человек все еще боялся ловушки.

– Я упал, я шел к дяде Мексуту, – быстро сказал я, боясь, что он не дослушает меня и проедет.

– К Мексуту? Так и сказал бы.

Я услышал, как он слез с коня и закинул уздечку за могильную ограду. Потом шаги его приблизились, но он все же остановился, не доходя до ямы.

– Держи! – услышал я, и веревка, прошуршав в воздухе, соскользнула в яму.

Я взялся за нее, но тут же вспомнил про козла. Он молча и одиноко стоял в углу. Недолго думая, я обернул веревку вокруг его шеи, быстро затянул два узла и крикнул:

– Тяните!

Веревка натянулась, козел замотал головой и встал на дыбы. Чтобы помочь, я схватил его за задние ноги и стал изо всех сил поднимать вверх – веревка врезалась ему в шею. Как только его рогатая голова, озаренная лунным светом, появилась над ямой, мужчина заорал, как мне показалось, козлиным голосом, бросил веревку и побежал. Козел рухнул возле меня, а я закричал от боли, потому что, падая, он отдал копытом мне ногу. Я заплакал от боли, огорчения и усталости. Видно, слезы были где-то близко, на уровне глаз. Они полились так обильно, что я в конце концов испугался их и перестал плакать. Я ругал себя, что не сказал ему про козла, а потом вспомнил о его лошади и решил, что так или иначе он за нею придет.

Минут через десять я уловил шаги крадущегося человека. Я знал, что он хочет отвязать лошадь и удрать.

– Это был козел, – сказал я громко и спокойно.

Молчание.

– Дядя, это был козел, – повторил я, стараясь не менять голоса.

Я почувствовал, что он остановился и слушает.

– Чей козел? – спросил он подозрительно.

– Не знаю, он сюда упал раньше меня, – ответил я, понимая, что слова мои не убеждают.

– Что-то ты ничего не знаешь, – сказал он, а потом спросил: – А Мексуту кем ты приходишься?

Я, сбиваясь от волнения, стал объяснять наше родство (в Абхазии все родственники). Я почувствовал, что он начинает мне верить, и старался не упускать это потепление. Сразу же я ему рассказал, зачем иду к дяде Мексуту. Я почувствовал, как трудно оправдываться, очутившись в могильной яме.

В конце концов он подошел к ней и осторожно наклонился. Я увидел его небритое лицо, брезгливое и странное в лунном свете. Было видно, что место, где он стоит и куда он смотрит, ему неприятно. Мне даже показалось, что он старается не дышать.

Я выкинул конец веревки, за которую был привязан козел. Он взялся за нее и потянул вверх. Я старался ему снизу помогать. Козел глупо упирался, но он, слегка подтянув его, схватил за рог и с яростным отвращением вытянул из ямы. Все-таки эта история ему не нравилась.

– Богом проклятая тварь, – сказал он, и я услышал, как он пнул ногой козла. Козел екнул и, наверное, рванулся, потому что человек схватил веревку и дернул. Потом он низко наклонился над ямой, опершись одной рукой о землю, другой схватил меня за протянутую кисть и сердито вытащил наверх. Когда он тащил, я старался быть легким, потому что боялся, как бы и мне не досталось. Он поставил меня рядом с собой. Это был большой и грузный мужчина. Кисть руки, которую он держал, побаливала.

Он молча посмотрел на меня и, вдруг неожиданно улыбнувшись, потрепал по голове:

– Здорово ты меня напугал со своим козлом. Думал, человека тащу, а тут рогатый вылезает...

Мне стало сразу легко и хорошо. Мы подошли к лошади, четко и неподвижно стоявшей у ограды. Козел на веревке шел за ним.

От лошади вкусно пахло потом, кожей седла, кукурузой. Наверно, он оставил на мельнице кукурузу, подумал я и вспомнил, что веревка тоже пахла кукурузой. Он посадил меня, вернее, почти вбросил в седло. Я подумал про свою палку, но не решился возвращаться за нею. К тому же лошадь, когда я садился, мотнула

головой, чтобы укусить меня за ногу. Я успел ее подобрать.

Хозяин отвернул морду лошади от ограды, закинул уздечку и, не выпуская из руки веревку с козлом, грузно уселся на седле. Я почувствовал, что лошадь прогибается под ним. Тело его придавило меня к луке седла. Мы тронулись.

Конь бодро пошел, стараясь перейти на рысь, раскорячиваясь от сдерживаемой силы и от раздражения, что сзади тащится козел.

Под глухой стук копыт, под легкое покачивание на седле я задремал.

Неожиданно конь стал, и я проснулся. Мы были у плетня, за которым виднелся большой чистый двор и большой дом на высоких деревянных сваях. В окнах горел свет. Это был дом дяди Мексута.

– Эгей, хозяин! – крикнул мой спутник и стал закуривать. Веревку с козлом он намотал на кол изгороди, не привязывая ее.

Дверь в доме отворилась, и мы услышали:

– Кто там?

Голос был мужественный и резкий: так у нас по ночам отвечают на незнакомый крик, чтобы показать готовность к любой встрече.

Дядя Мексут – это был он, я сразу узнал его широкоплечую, низкорослую фигуру – спустился по лестнице и, отгоняя собак, шел в нашу сторону, внимательно вглядываясь в темноту. Помню удивление его и даже испуг, когда он узнал меня.

– Еще не то узнаешь, – сказал мой спаситель, ссаживая меня и стараясь передать через изгородь прямо в руки дяде Мексуту. Но я не дался ему в руки, а уцепился за кол изгороди и слез сам.

Спутник мой стал откручивать веревку с козлом.

– Козел откуда? – еще больше удивляясь, спросил дядя Мексут.

– Чудеса, чудеса! – весело и загадочно сказал всадник и посмотрел в мою сторону, как равный на равного.

– Зайди в дом, спешься! – сказал дядя Мексут, схватив коня за уздечку.

– Спасибо, Мексут, никак не могу, – ответил всадник и заспешил, хотя до этого почему-то не торопился.

По абхазскому обычаю, дядя Мексут долго уговаривал разделить с ним хлеб-соль, то обижаясь, то упрашивая, то издеваясь над его якобы важными делами, из-за которых он не может остаться. Все это время он поглядывал то на козла, то на меня, чувствуя, что между моим появлением и козлом есть какая-то связь, и никак не улавливал ее.

Наконец всадник уехал, волоча за собой козла, а дядя Мексут повел меня домой, удивленно цокая языком и покрикивая на собак.

В комнате, озаренной не столько лампой, сколько ярко пылавшим очагом, за столом, уставленным закусками и фруктами, сидели гости. Я сразу увидел маму и

заметил, несмотря на багровые отсветы пламени, как она медленно побледнела. Гости повскакали с мест, заохали, запричитали.

Одна из моих городских теток, узнав о цели моего прихода, стала тихо опрокидываться назад, как бы падая в обморок. Но так как в деревне этого не понимали и никто не собирался ее подхватывать, она остановилась на полпути и сделала вид, что у нее заломило поясницу. Дядя Мексут всячески успокаивал женщин, предлагал пить за победу, за сыновей, за то, чтобы все вернулись. Дядя Мексут был большой хлебосол, в доме у него всегда были гости, а здесь, в долине, уже собрали виноград, и сезон длинных тостов только начинался.

Мама сидела молча, ни к чему не притрагиваясь. Мне было жалко ее, хотелось как-то успокоить, но роль, которую я взял на себя, не допускала такой слабости.

Мне подали горячей мамалыги, курятины и даже налили стакан вина. Мама покачала головой, но дядя Мексут сказал, что мачарка еще не вино, а я уже не ребенок.

Я рассказал о своих приключениях и, уже досасывая последние косточки, почувствовал, как на меня навалился сон, сладкий и золотой, как первое вино мачарка. Я уснул за столом.

Дней через десять из Баку вернулась мама. Оказывается, брат не был ранен, а просто соскучился по своим и решил увидеться с ними перед отправкой на фронт. И, конечно, добился своего. Он у нас всегда был с фокусами.

* * *

Часов в десять утра я вышел из автобуса в селе Ореховый Ключ.

Автобус запылил дальше, а я пошел в сторону правления колхоза, с удовольствием разминая ноги после долгого, неподвижного сидения. Становилось жарко.

Я чувствовал себя бодро и ощущал в своей душе неисчерпаемый запас репортерской проницательности. Рядом с правлением под могучим шатром орехового дерева в традиционной позе патриархов сидели два старика абхазца. Один из них держал в руке палку, другой – посох. Я заметил и радостно удивился тому, что крючковатый загиб рогатульки на посохе одного старика соответствовал крючковатому носу самого старика, тогда как другой старик был с прямым носом и держал палку без всяких ответвлений. Проходя мимо них, я поздоровался, вернее, почтительно кивнул им, на что они ответили вежливым движением, как бы приподымаясь навстречу.

– Сдается мне, что это новый доктор, – сказал один из них, когда я прошел.

– А по-моему, армянин, – сказал другой.

Правление колхоза находилось в деревянном двухэтажном здании. Внизу

магазин и склады с большими висячими замками на дверях. Наверху служебные помещения. Из открытых дверей магазина доносился женский смех.

У самого крыльца стоял потрепанный «газик», и я понял, что председатель на месте.

К стене правления было приклеено объявление, написанное подтекающими буквами:

«Козлотур – это наша гордость».

Лекцию читает кандидат археологических наук, действительный член Общества по распространению научных и политических знаний Вахтанг Бочуа. После лекции кино «Железная маска».

Так, значит, Вахтанг здесь или должен приехать! Я обрадовался, предвкушая встречу с нашим прославленным балагуром и чангалистом. Я его не видел больше года. Я знал, что он процветает, но не думал, что он уже стал кандидатом археологических наук, да еще читающим лекции про козлотуров.

Кстати, слово чангалист, кажется, употребляется только у нас в Абхазии и означает – любитель выпить на чужой счет. Производное от него – зачангалить, то есть подцепить кого-нибудь, взять на бордаж, и не обязательно с тем, чтобы выпить, но и в более широком смысле.

Впрочем, Вахтанга, как правило, любили угощать, потому что в любую компанию он вносил шумливое, безудержное веселье. Сама внешность его полна комических противоречий. Тучная и мрачная голова Нерона – и добродушный, незлобивый характер, проницательность и пробивная сила снабженца – и задумчивая профессия археолога, так сказать, листающего пласты веков.

После окончания историко-архивного института Вахтанг несколько лет работал экскурсоводом, а потом написал книжку «Цветущие развалины». Она стала любимой книгой туристов. «И интуристов», – неизменно добавлял Вахтанг, когда разговор о ней заходил при нем. А разговор заходил почти всегда, потому что он сам же его и заводил.

Мы, земляки, в студенческие времена часто собирались вместе, и ни одна дружеская пирушка не обходилась без Вахтанга. В этом отношении, как, впрочем, и во многих других, он обладал необычайным чутьем, и если кто получал посылку, его не надо было звать. Он являлся в общежитие еще до того, как хозяин посылки успевал обрезать или оборвать шпагат, которым был перевязан ящик.

– Приостановить процедуру, – говорил он, открывая дверь и обрушивая на голову обладателя посылки водопад великолепного пустозвонства.

В нем и тогда чувствовался плут, но плут веселый, дерзкий, артистичный и, главное, безвредный для друзей, разве что впадал в меланхолию, когда приходило время расплачиваться с официанткой.

* * *

Вспоминая Вахтанга, я поднялся по деревянной лесенке на второй этаж и вошел в правление колхоза.

Это была длинная прохладная комната, перегороденная справа и слева деревянными перилами. Слева от меня, сидя за столом, дремал толстый небритый человек. Почувствовав, что кто-то вошел, он приоткрыл один глаз и некоторое время осознал мое появление и, очевидно осознав, прикрыл его. Так дремлющий кот, услышав звон посуды, приоткрывает глаз, но, поняв, что этот звон не имеет отношения к началу трапезы, продолжает дремать.

Справа несколько счетных работников усердно щелкали костяшками счетов, и иногда, когда костяшка стучала слишком сильно, дремлющий человек приоткрывал все тот же глаз и снова благодушно закрывал его. Один из счетных работников встал, подошел к несгораемому шкафу и вынул оттуда какую-то папку, и вдруг я понял, что это девушка, одетая в мужской костюм. Меня поразило выражение ее лица, печального, как высохший колодец.

В конце комнаты над большим столом возвышалась председательская фигура самого председателя. Он говорил по телефону. Он оглядел меня с холодноватым любопытством и отвел глаза, прислушиваясь к трубке.

– Здравствуйте, – сказал я по-русски, не обращаясь ни к кому определенно.

– Здравствуйте, – ответила девушка тихо и приподняла свое печальное лицо.

Я не знал, с чего начать, потому что председателя прервать было неудобно, но и стоять так без дела тоже было неудобно.

– Лектор еще не приехал? – зачем-то спросил я у девушки, словно явился на лекцию.

– Товарищ Бочуа уже приехал, – сказала она тихим голосом, вскинув па меня свои большие глаза, – он поехал рассматривать старую крепость.

– Дорогой, за кукурузу не бойся, как львы стоят! – загремел председатель по-абхазски. – Как львы, говорю, только напоминаю насчет удобрения... Давали, но не хватает... Если комиссия-чамиссия, есть что показать, ведите прямо к нам... Чтоб я кости отца откопал, если не выполним план, но, дорогой Андрей Шалвович, больше у нас земли нет. Какие залежные земли – бурку расстелить негде. Здесь агроном сидит, он скажет, если проснется, – добавил председатель игриво и посмотрел на дремлющего человека.

Не успел он договорить, как тот что-то сердито заклокотал в ответ, и,

по-моему, заклокотал раньше, чем открыл глаза. Из того что он сказал, я понял, что он не собирается ради каких-то сумасшедших выкорчевывать чайные плантации. Он замолчал так же неожиданно, как и начал, и закрыл глаза раньше, чем кончил говорить.

Пока он говорил, председатель плотно прикрывал трубку. Заметив, что я смотрю на него, он нахмурился и бросил по-абхазски в сторону девушки:

– Узнай у этого лоботряса, откуда он и что ему надо. Он снова слился с трубкой и вдруг заурчал тоном гостеприимного хозяина:

– Совсем к нам дорогу забыли, Андрей Шалвович. Нехорошо получается, Андрей Шалвович. Не я прошу, народ просит, Андрей Шалвович.

Я несколько опешил, услышав про лоботряса. Очевидно, он решил, что я не абхазец, и мне ничего не оставалось, как согласиться с этим.

Председатель продолжал говорить. Теперь он заходил по второму кругу.

... – Тонн сто суперфосфат-муперфосфат прошу, как родного брата, Андрей Шалвович.

Я смотрел, как работает девушка. Она что-то подсчитывала, изредка перекидывая костяшки на счетах, словно задумчиво перебирала большие деревянные бусы.

Наконец председатель положил трубку, и я подошел к нему.

– Здравствуйте, товарищ, вы из леспромхоза, – сказал он уверенно и протянул мне руку.

– Я из газеты, – ответил я.

– Добро пожаловать, – оживился он и, кажется, пожал мне руку сильнее, чем собирался.

– Вот командировка, – сказал я и полез в карман.

– Даже не хочу смотреть, – ответил он, делая рукой отстраняющий жест. – Человека видно, – добавил он с наглой серьезностью, глядя мне в глаза.

– Я насчет козлотура, – сказал я, внезапно почувствовав, что здесь слова мои прозвучат смешно. Так и получилось. Кто-то из счетоводов хихикнул.

– Чтоб я похоронил твой смех, – проурчал председатель по-абхазски и добавил по-русски: – С козлотуром мы провели большую работу.

– А что именно? – спросил я.

– Во-первых, широкая пропаганда среди населения, – председатель загнул мизинец на левой руке и вдобавок пристукнул его правой ладонью. – Сегодня у нас читает лекцию уважаемый товарищ Вахтанг Бочуа. Зоотехника командировали к селекционеру, – он загнул безымянный палец и опять пришлепнул его ладонью. – А что, жалобы есть? – неожиданно прервал он себя и посмотрел на меня черными настороженными глазами.

– Нет, – сказал я, выдержав его взгляд.

– А то у нас есть один, бывший председатель примкнувшего колхоза.

– Нет-нет, – сказал я, – дело не в жалобе.

– Но он свою фамилию не пишет, – добавил он, словно раскрывая всю глубину его коварства, – другими словами подписывает, но мы знаем эти слова.

– Можно посмотреть на козлотура? – перебил я его, давая знать, что жалобщик меня не интересует.

– Конечно, – сказал он, – пройдемте.

Председатель вышел из-за стола. Чувствовалось, как его большое, сильное тело свободно двигается под просторной одеждой.

Спящий агроном молча поднялся из-за стола и вышел вместе с нами на веранду.

– Сколько раз я этому болвану говорил, чтоб почистил загон, – сказал председатель про кого-то по-абхазски, когда мы спускались по лестнице.

– Валико! – крикнул председатель, обернувшись к дверям магазина. – Выйди на минуту, если тебя еще там не женили.

Из магазина раздался смех девушки и дерзкий голос парня:

– А что там случилось?

– Не случилось, а случится, если я запру этот магазин и позову сюда твою тещу.

Снова раздался женский смех, и на пороге появился парень среднего роста с огромными девственно-голубыми глазами на смуглом лице.

– Поезжай к тете Нуце и привези огурцы для козлотура, – сказал председатель, – товарищ приехал из города, можем осрамиться.

– Не поеду, – сказал парень, – люди смеются.

– Плюнь на людей, – сказал председатель строго, – подъезжай прямо туда, мы будем там.

Я теперь понял, что это его шофер. Валико сел на газик и, сердито развернувшись, выехал на улицу.

Было жарко. В тени грецкого ореха все еще сидели два старика, и тот, что был с посохом, что-то рассказывал другому, время от времени постукивая своим посохом по земле, так что он уже продолбил порядочную лунку. Было похоже, что он собирается поставить здесь небольшую изгородь, чтоб отгородить свое место в тени орешника от летнего солнца и колхозной суеты.

Председатель поздоровался с ними, когда мы с ними поравнялись, и старики в знак приветствия сделали вид, что приподымаются.

– Сынок, – спросил тот, что был с посохом, – этот, что с тобой, новый доктор?

– Это козлотурский доктор, – сказал председатель.

– А я посмотрел и думаю: армянин, – вставил тот, что был с палкой.

– Чудеса, – сказал тот, что был с посохом, – я этих козлотуров в горах сотнями убивал, а теперь за одним доктора прислали.

– Большой чудак этот старик, – сказал председатель, когда мы вышли на улицу.

– Почему? – спросил я.

– Приезжал как-то секретарь райкома, остановился тут, а старик вот так сидел в тени, как сейчас. Пошел разговор, как раньше жили, как теперь. Старик ему говорит: «Раньше землю пахали деревянной сохой, а теперь железным плугом». – «Что это означает?» – спросил секретарь. «От сохи земля падает в обе стороны одинаково, а железный плуг выворачивает в одну, – значит, и урожай себе». – «Правильно», – сказал секретарь райкома и уехал.

Мне захотелось в двух словах записать эту присказку, чтобы потом не забыть. Я вынул блокнот, но председатель не дал мне записать ее.

– Это не надо, – сказал он решительно.

– Почему? – удивился я.

– Не стоит, – сказал он, – это фантазия, я вам скажу, что надо записывать.

«Ничего, я и так запомню», – подумал я и спрятал блокнот.

Мы шли по горячей пыльной улице. Пыль так раскалилась, что даже сквозь подошвы туфель пекло.

По обе стороны деревенской улицы время от времени мелькали крестьянские дома с приусадебной кукурузой, с зелеными ковриками дворов, с лозами «изабеллы», вьющейся по веткам фруктовых деревьев. Сквозь курчавую виноградную листву проглядывали плотные, незрелые виноградные кисти.

– Много вина будет в этом году, – сказал я.

– Да, виноград хороший, – сказал председатель задумчиво. – А на кукурузу обратили внимание?

Я посмотрел на кукурузу, но ничего особенного не заметил.

– А что? – спросил я.

– Как следует посмотрите, – сказал председатель, загадочно усмехнувшись.

Я присмотрелся и заметил, что с одной стороны приусадебного участка у каждого дома кукуруза была более рослая, с более мясистыми листьями, с цветными косичками завязи, с другой стороны зелень более бледная, кукуруза ниже ростом.

– Что, не одновременно сеяли? – спросил я у председателя, продолжавшего загадочно улыбаться.

– В один день, в один час сеяли, – сказал председатель, еще более загадочно улыбаясь.

– А в чем дело? – спросил я.

– В этом году отрезали приусадебные участки. Конечно, это нужное

мероприятие, но не для нашего колхоза. У меня чай – я не могу на приусадебных клочках плантации разводить.

Я еще раз пригляделся к кукурузе. В самом деле, разница в силе и упитанности кукурузных стеблей была такая, какая изображается в наглядных пособиях, когда хотят показать рост урожайности в будущем.

– Крестьянское дело – очень хитрое дело, между прочим, – сказал председатель, продолжая загадочно улыбаться. Казалось, он своей улыбкой намекал на то, что эту хитрость из городских еще никто не понял, да и навряд ли когда-нибудь поймет.

– В чем же хитрость? – спросил я.

– В чем хитрость? А ну скажи ты, – председатель неожиданно обернулся к агроному.

– Хитрость в том, что, если крестьянин увидит коровью лепешку на этой улице, – он ее перебросит на свой участок, – засопел агроном. – И так во всем.

– Психология, – произнес важно председатель.

Мне захотелось записать этот пример с коровьей лепешкой, но председатель опять схватил меня за руку и заставил вложить блокнот в карман.

– В чем дело? – спросил я.

– Это так, разговор туда-сюда, об этом писать нельзя, – добавил он с убежденностью человека, который лучше меня знает, о чем можно писать, о чем нельзя.

– А разве это не правда? – удивился я.

– А разве всякую правду можно писать? – удивился он.

Тут мы оба удивились нашему удивлению и рассмеялись. Агроном сердито хмыкнул.

– Если я ему скажу, – председатель кивнул на приусадебный участок, мимо которого мы теперь проходили, – половина урожая тебе – совсем по-другому обрабатывает землю и хороший урожай возьмет.

Я уже знал, что такие вещи делаются во многих колхозах, только не слишком гласно.

– А почему бы вам не сказать? – спросил я.

– Это проходит как нарушение устава, – строго заметил он и неопределенно добавил: – Иногда кое в чем позволяем сверх плана.

Густой аромат распаренного солнцем чайного листа ударил в ноздри раньше, чем открылась плантация. Темнозеленые ряды кустов уходили справа от дороги и разливались до самой опушки леса. Они мягко огибали опушку, иногда, как бы образуя залив, входили в нее. Посреди плантации стоял огромный дуб, наверное, в жару под ним отдыхали сборщицы.

Так тихо, что кажется – на плантации пусто. Но вот у самой дороги мелькнула

широкополая шляпа сборщицы, а там белый платок, а там еще кто-то в красном.

– Как дела, Гогола? – окликнул агроном широкополюю шляпу.

Она обернулась в нашу сторону.

– Двадцать кило с утра, – сказала девушка, на миг приподняв худенькое миловидное лицо.

– Ай, молодец Гогола! – крикнул председатель радостно.

Агроном с удовольствием засопел.

Девушка гибко склоняется над чайным кустом. Пальцы рук легкими, как бы ласкающими движениями скользят по поверхности чайного куста. Цок! Цок! Цок! – слышится в тишине непрерывный сочный звук. Молодые побеги, кажется, сами впрыгивают в ладони юной сборщицы.

Она медленно продвигается вдоль ряда. К поясу, слегка оттягивая его, привязана корзина. Движения рук от куста к корзине, от куста к корзине. Иногда она наклоняется и выдергивает из кустов стебель сорняка. На руках перчатки с прорезями для пальцев, вроде тех, что носят зимой кондукторши в Москве.

Зной, марево и упорная тихая работа почти невидимых сборщиц. Вид чайных плантаций оживляет председателя.

– Ай, молодец Гогола, Гогола, – напевает он с удовольствием.

Рядом, посапывая, шагает агроном.

– Вот про Гоголу запишите, все скажу, – говорит председатель. – За лето тысяча восемьсот килограммов собрала, почти две тонны.

Но теперь мне не хочется записывать, да и задание у меня совсем другое.

– Другой раз, – говорю я. – А вас давно объединили?

– Не говори, дорогой, нищих примкнули, – говорит он брезгливо и добавляет: – Конечно, хорошее мероприятие, но не для нашего колхоза: у них табак, у нас чай. Я готов десять козлотуров воспитать, чем иметь дело с ними.

– Ай, молодец Гогола, Гогола, – напевает он, пытаюсь вернуть хорошее настроение, но, видно, не получается. – Нищие! – сплевывает он с отвращением и замолкает.

Мы подошли к ферме. Рядом с большим пустым коровником был расположен летний загон, отгороженный плетнем. К нему примыкал загон поменьше, там и сидел козлотур.

Мы подошли к загону. Я с любопытством стал оглядывать знаменитое животное. Козлотур сидел под легким брезентовым навесом. Увидев нас, он перестал жевать жвачку и уставился розовыми немигающими глазами. Потом он встал и потянулся, выпятив мощную грудь. Это было действительно довольно крупное животное с непомерно тяжелыми рогами, по форме напоминавшими хорошо выращенные казацкие усы.

– Он себя хорошо чувствует, только наших коз не любит, – сказал

председатель.

– Как не любит?

– Не гуляет, – пояснил председатель, – у нас климат влажный. Он привык к горам.

– А вы что, его огурцами кормите? – спросил я и испугался, вспомнив, что про огурцы он говорил по-абхазски.

Но председатель, слава богу, ничего не заметил.

– Что вы, – сказал он, – мы ему даем полный рацион. Огурцы – это проходит как местная инициатива.

Председатель просунул руку в загон и поманил козлотура. Козлотур теперь уставился на его руку и стоял неподвижно, как изваяние.

Подъехал шофер. Он вышел из машины с плотно оттопыренными карманами. Агроном опустился под изгородью загона и тут же задремал в ее короткой тени. Председатель взял у шофера огурец и вытянул руку над забором. Козлотур встрепнулся и уставился на огурец. Потом он медленно, как загипнотизированный, двинулся на него. Когда он вплотную подошел к изгороди, председатель поднял руку так, чтобы козлотур не смог достать огурец с той стороны. Козлотур привстал на задние ноги и, упершись передними в изгородь, вытянул шею, но председатель еще выше поднял огурец. Тогда козлотур одним легким звериным рывком перебросился через изгородь и чуть не свалился на голову агронома. Тот слегка приоткрыл глаза и снова задремал.

– Исключительная прыгучесть, – важно сказал председатель и отдал огурец козлотуру.

Тот завозился над ним, выskalив большие желтые резцы. Он возился с ним с таким же нервным нетерпением, с каким кошка возится с пузырьком из-под валерьянки.

– Зайди теперь с той стороны, – сказал председатель шоферу.

Валико, кряхтя, стал перелезать через изгородь. Из карманов у него посыпались огурцы. Козлотур ринулся было к ним, но председатель отогнал его и поднял их. Шофер с той стороны загона поманил козлотура огурцом. Председатель подал мне один огурец и надкусил другой, слегка обтерев его о рукав.

– Весь скот у нас на альпийских лугах, – сказал председатель, чмокая огурцом, – для него оставили десять лучших коз, но ничего не получается.

Козлотур опять стал передними ногами на изгородь и, не дотянувшись до огурца, еще более великолепным прыжком перебросился в загон. Шофер поднял над головой огурец. Козлотур замер перед ним, глядя на огурец розовыми дикими глазами. Потом подпрыгнул и, выдернув из руки шофера огурец, рухнул на землю.

– Чуть пальцы не отгрыз, – сказал шофер и, вынув из кармана еще один огурец, надкусил его.

Теперь все мы ели по огурцу, кроме агронома. Он все еще дремал, прислонившись к изгороди.

– Эй, – крикнул председатель, – может, очнешься, – и бросил ему огурец.

Агроном открыл глаза и взял огурец. Лениво очистил его о свой полотняный китель, но, не дотянув до рта, почему-то передумал есть и вложил огурец в карман кителя. Снова задремал.

К загону подошли девочка и мальчик лет по восьми. Девочка, как ребенка, держала на руке большой свежий кукурузный початок в зеленой кожуре, с еще не высохшей косичкой.

– Сейчас козлотур будет драться, – сказал мальчик.

– Пойдем домой, – сказала девочка.

– Посмотрим, как будет драться, а потом пойдем, – сказал мальчик рассудительно.

– Попробуй впусти коз, – сказал председатель.

Шофер пересек загон и, открыв дверцу-плетенку, вошел в большой загон. Я только теперь заметил, что в углу загона, сбившись в кучу, дремали козы.

– Хейт, хейт! – прикрикнул на них Валико и стал сгонять с места.

Козы неохотно поднялись. Козлотур тревожно вздернул голбву и стал принюхиваться к тому, что происходит в загоне.

– Понимает, – сказал председатель восхищенно.

– Хейт, хейт! – сгонял коз Валико, но они стали бегать от него по всему загону. Он их пытался подогнать к открытой дверце, но они пробегали мимо.

– Боятся, – сказал председатель радостно. Козлотур замер и не отрываясь смотрел в сторону большого загона. Он смотрел, вытянув шею, и принюхивался.

Время от времени у него вздрагивала верхняя губа, и тогда казалось, что он скалит зубы.

– Нэнавидит, – сказал председатель почти восторженно.

– Пойдем, – сказала девочка, – я боюсь.

– Не бойся, – сказал мальчик, – он сейчас будет драться.

– Я боюсь, он дикий, – сказала девочка рассудительно и прижимала початок к груди.

– Он один сильнее всех, – сказал мальчик.

Агроном неожиданно тихо засмеялся и вынул из кармана огурец. Он сломал его пополам и протянул детям. Девочка не сдвинулась с места, только крепче прижала свой початок к груди. Мальчик осторожно-осторожно, бочком подошел и взял обе половины.

– Пойдем, – сказала девочка и посмотрела на початок, – кукла тоже боится.

Видимо, она напоминала ему о старой игре, чтобы отвлечь от новой.

– Это не кукла, это кукуруза, – сказал мальчик поспешно, разрушая условия старой игры во имя новой. Теперь и он чмокал огурцом. Девочка от своей половины отказалась.

Наконец шофер, чертыхаясь, вогнал коз в загон и прикрыл дверцу. Козлотур в бешенстве ринулся на них. Козы рассыпались по загону. Козлотур догнал одну из коз и ударом рогов опрокинул ее. Она перевернулась через голову, крикнула, но тут же вскочила и пустилась наутек. Козы бежали вдоль плетня, то рассыпаясь, то вновь сбиваясь в кучу. Козлотур гнался за ними, ударами рогов разбрызгивая их по всему загону. Козы бежали, топоча и подымая пыль, а козлотур внезапно резко тормозил и, некоторое время следя за ними розовыми глазами, бросался на них, выбрав угол для атаки.

– Нэнавидит! – снова воскликнул председатель, восторженно цокая.

– Ему царицу Тамару подавай! – крикнул шофер. Он стоял посреди загона в клубах пыли, как матадор на арене.

– Хорошее начинание, но не для нашего климата! – крикнул председатель, стараясь перекрыть топотню и голоса блеющих коз.

Козлотур свирепел все больше и больше, козы метались по загону, то сливаясь, то рассыпаясь в стороны. Наконец одна коза прыгнула через плетень и свалилась в большой загон. Другие сейчас же ринулись за ней, но страх мешал им соразмерить прыжок, и они падали назад и снова бежали по кругу.

– Хватит! – крикнул председатель по-абхазски. – А то эта сволочь перекалечит наших коз.

– Чтоб я его съел на поминках того, кто это придумал! – крикнул шофер по-абхазски и ударом ноги распахнул дверцу загона.

Козы сейчас же ринулись туда и запрудили узкий проход, блея от страха и налезая друг на друга. Козлотур несколько раз с разгону налетел на это сцепившееся, рвущееся и застрявшее в узком проходе стадо и ударами рогов вколачивал их в большой загон.

Шофер с трудом отогнал его. Козлотур долго не мог успокоиться и бегал по загону, как разгоряченный лев.

– Ну, теперь пойдем, – сказала девочка мальчику.

– Он один всех победил, – объяснил ей мальчик, и они пошли по дороге, бесшумно перебирая пыльными загорелыми ногами.

– Нэнавидит, – повторил председатель, как бы восторгаясь надежным упорством козлотура.

Мы сели в машину и поехали назад, к правлению колхоза. Машина остановилась в тени грецкого ореха. Агроном остался в машине, а мы вылезли. Старики сидели на своем месте.

Вахтанг Бочуа, сияя белоснежным костюмом и розовым добродушным лицом, стоял возле новенького «газика».

Увидев меня, он пошел навстречу, шутовски растопырив руки, словно собираясь принять меня в свои объятия.

– Блудный сын вернулся, – воскликнул он, – в тени столетнего ореха его встречает Вахтанг Бочуа и сопровождающие его старейшины села Ореховый Ключ. Целуй край черкески, негодяй! – добавил он, сияя солнечной жизнерадостностью. Рядом с ним стоял молодой парень и восхищенно смотрел на него.

Вдруг я вспомнил, что он может со мной заговорить по-абхазски, и, схватив его за руку, отвел в сторону.

– Что такое, мой друг, интриги? – спросил он, радостно загораясь.

– Делай вид, что я не понимаю по-абхазски, – сказал я тихо, – так получилось.

– Понятно, – сказал Вахтанг, – ты приехал изучать тайные козни против козлотура. Но учти: после моей лекции в селе Ореховый Ключ будет обеспечена сплошная козлотуризация, – завелся он, как обычно. – Кстати, это неплохо сказано – козлотуризация. Не вздумай употреблять раньше меня.

– Не бойся, – сказал я, – только молчи.

– Вахтанг умеет молчать, хотя это ему не дешево обходится, – заверил он меня, и мы подошли к председателю.

– Я надеюсь своей лекцией разбудить творческие силы вашего колхоза, если даже не удастся разбудить вашего агронома, – обратился Вахтанг к председателю, подмигивая мне и похохатывая.

– Конечно, это интересное начинание, товарищ Вахтанг, – сказал председатель уважительно.

– Что я и собираюсь доказать, – сказал Вахтанг.

– Какое ты имеешь к этому отношение, ты же историк, – сказал я.

– Вот именно, – воскликнул Вахтанг, – я рассматриваю проблему в ее историческом разрезе.

– Не понимаю, – сказал я.

– Пожалуйста, – он сделал широкий жест, – чем был горный тур на протяжении веков? Он был жертвой феодальных охотников и барствующей молодежи. Они истребляли его, но гордое животное не покорялось и уходило все дальше и дальше на недоступные вершины Кавказа, хотя сердцем оно всегда тянулось к нашим плодородным долинам.

– Заткнись, – сказал я.

– Я продолжаю, – Вахтанг похлопал себя ладонями по животу и, любуясь своей неистоимостью, продолжал: – А чем была наша скромная, незаметная абхазская коза? Она была кормилицей беднейшего крестьянства.

Оба старика с уважением слушали Вахтанга, хотя явно ничего не понимали. Тот, что был с посохом, даже забыл про свою лунку и важно слушал его, слегка загнув ухо так, чтобы речь удобней вливалась в ушную раковину.

– С ума сойти, как говорит, – сказал тот, что был с палкой.

– Наверное, из тех, что в радио говорят, – сказал тот, что был с посохом.

– ...Но она, наша скромная коза, – продолжал Вахтанг, – мечтала о лучшей доле, скажем прямо: она мечтала встретиться с туром... И вот усилиями наших народных умельцев, – а талантами земля наша богата, – горный тур встречается с нашей скромной домовитой и в то же время прелестной в самой своей скромности абхазской козой.

Я заткнул уши.

– Видно, что-то неприятное напомнил, ишь как закрыл уши, – сказал старик с палкой.

– Наверное, ругает, что плохо лечит козлотура, – добавил старик с посохом, – я этих козлотуров в горах убивал сотнями, а теперь за одного ругают...

– У них тоже какие-то свои дела, – заключил старик с палкой.

– ...Интимным подробностям этой встречи и посвящена моя лекция, – закончил Вахтанг и, вынув платок, промокнул им повлажневшее лицо.

В это время к председателю подошли какие-то лохматые парни городского типа. Оказалось, что это монтажники, которые проводят сюда электричество. Они вступили с председателем в долгий, нескончаемый спор. Оказывается, какие-то виды работ не учтены в смете, и ребята отказывались работать до того, как правильно составят смету. Председатель старался доказать им, что не следует бросать работу.

Нельзя было не залюбоваться мастерством, с каким он вел спор. Разговор шел на трех языках, причем с наиболее задиристым он говорил по-русски, на языке законов. Тихого кахетинца, который почти ничего не говорил, он сразу же отсекал от остальных и говорил, отчасти как бы ссылаясь на него.

Иногда он оборачивался в нашу сторону, может быть призывая нас в свидетели. Во всяком случае, Вахтанг солидно кивал головой и бормотал что-то вроде: безусловно, вы погорячились, мои друзья, я это выясню в министерстве...

– Много ты лекций прочел? – спросил я у Вахтанга.

– Заказы сыплются, за последние два месяца восемьдесят лекций, из них десять шефских, остальные платные, – доложил он.

– Ну и что говорят люди?

– Народ слушает, народ осознает, – сказал Вахтанг туманно.

– А что ты сам об этом думаешь?

– Лично меня привлекает его шерстистость.

– Кроме шуток?

– Козлотура надо стричь, – сказал Вахтанг серьезно и, внезапно расплываясь, добавил: – Что я и делаю.

– Ну ладно, – остановил я его, – мне пора ехать.

– Не будь дураком, оставайся, – сказал Вахтанг вполголоса, – после лекции предстоит хлеб-соль. Ради меня они зарежут последнего козлотура...

– С чего это они тебя так любят? – спросил я.

– А я обещал председателю устроить с удобрением, – сказал Вахтанг серьезно, – и я это действительно сделаю.

– Какое ты имеешь отношение к этому?

– Мой мальчик, – улыбнулся Вахтанг покровительственно, – в природе все связано. У Андрея Шалвовича племянник поступает в этом году в институт, а твой покорный слуга член приемной комиссии. Почему бы председателю райисполкома не помочь хорошему председателю? Почему бы мне не обратить внимание на юного абитуриента? Все бескорыстно, для людей.

Председатель уговорил ребят продолжать работу. Он обещал им сейчас же вызвать телеграммой из города инженера и установить истину.

Они понуро поплелись, видимо, не слишком довольные своей полупобедой. Председатель тоже заторопился. Я попрощался со всеми. Старики сделали вежливое движение, как бы приподымаясь проводить меня.

– Рейсовая машина уже прошла, но мой шофер довезет вас до шоссе, – сказал председатель.

– Мой тоже не откажется, – вставил Вахтанг.

Председатель подозвал своего шофера. Мы сели в машину.

– Боюсь, как бы он против нас не написал какую-нибудь чушь, – сказал председатель Вахтангу по-абхазски.

– Не беспокойся, – ответил Вахтанг, – я ему уже дал указания, что писать и как писать.

– Спасибо, дорогой Вахтанг, – сказал председатель и добавил, обращаясь к шоферу: – Там на шоссе зайди и напои его как следует, а то журналисты, я знаю, без этого не могут.

– Хорошо, – ответил шофер по-абхазски. Вахтанг расхохотался.

– Вы не одобряете, товарищ Вахтанг? – встревожился председатель.

– Всемерно одобряю, мой друг, – воскликнул Вахтанг, обнимая одной рукой председателя, и, обернувшись, крикнул мне через шум мотора: – Передай моему другу Автандилу Автандиловичу, что пропаганда козлотура в надежных руках.

Машина запыхала по дороге. Солнце клонилось к закату, но жара не спадала.

«Против нас какую-нибудь чушь...» – вспоминал я слова председателя. Получалось так, что я могу написать за или против, но в обоих случаях для него не было сомнений в том, что это будет чушь. Потом я с горечью убеждался много раз, что он, в общем, не слишком далек от истины.

Кстати, насчет травли козлотура шофер мне сообщил любопытную деталь. Оказывается, козлотур как-то сбежал на плантацию, где наелся чайного листа и

временно сошел с ума, как сказал Валико. Он действительно бегал по всему селу, и за ним гнались собаки. Его даже хотели пристрелить, думали, что он взбесился, но потом он постепенно успокоился.

Машина выскочила на шоссе и остановилась возле голубой закусочной. «Посмотрим, как ты меня заманишь туда», – подумал я и решил стойко защищать свою репутацию.

Валико посмотрел на меня голубым взглядом совратителя и сказал:

– Перекусим, что ли?

– Спасибо, в городе пообедаю.

– Туда еще ехать и ехать.

– Я все же поеду, – возразил я, стараясь быть помягче. Чем-то он мне понравился, этот парень с голубыми глазами всевозможных оттенков.

– Ничего такого не собираюсь, – сказал он и открыл дверцу. – Перекусим каждый за себя по русскому счету.

Чего я боюсь, подумал я, у меня преимущество в том, что я знаю о том, что он собирается меня напоить, а он не знает, что я знаю об этом.

– Хорошо, – сказал я, – быстренько перекусим, и я поеду.

– О чем говорить – зелень-мелень, лобиа-мобиа.

Валико закрыл машину, и мы вошли в закусочную.

Помещение было почти пустое. Только в углу сидела компания, плотно облепив два сдвинутых стола. Видно, они уже порядочно поддали, потому что полдюжины бутылок стояли на полу, как отстрелянные гильзы. Среди пирующих сидела одна белокурая женщина северного типа. На ней был сарафан с широким вырезом, и она то и дело оглядывала свой загар. Было похоже, что он ей помогает самоутвердиться.

Валико занял столик в противоположном углу. Мне это понравилось. Две официантки, тихо переговариваясь, сидели за столиком у окна.

Валико, осторожно обходя столы, подошел к официанткам. Я понял, что он старается быть не замеченным компанией. Увидев его, официантки приветливо улыбнулись, особенно тепло улыбнулась одна из них, та, что была помоложе. Валико поздоровался с ними и стал что-то рассказывать, пригнувшись к той, что была помоложе. Она слушала его, не переставая улыбаться, и лицо ее постепенно оживлялось.

«Ну тебя, ну тебя», – казалось, говорила она, слабо отмахиваясь ладонью и с удовольствием слушая его.

У таких ребят, подумал я, всегда есть, что рассказать официантке. Потом по выражению ее лица я понял, что он стал ей заказывать. Я забеспокоился. Она посмотрела в мою сторону, и я неожиданно крикнул:

– Не вздумай заказать вино!

– Как можно, – сказал Валико, обернувшись, и развел руками.

Компания обратила на нас внимание, и кто-то крикнул оттуда:

– Валико, иди к нам!

– Никак не могу, дорогой, – сказал Валико и приложил руку к сердцу.

– На минуту, да?

– Извиняюсь перед всей компанией и перед прекрасной женщиной, но не могу, – проговорил Валико и, уважительно попятившись, отошел к нашему столику.

Через несколько минут на столе появилась огромная тарелка со свежим луком и пунцовыми редисками, проглядывавшими сквозь зеленый лук, как красные зверята. Рядом с зеленью официантка поставила две порции лобио и хлеб.

– Боржом не забудь, Лидочка, – сказал Валико, и я окончательно успокоился и почувствовал, как сильно проголодался за день. Мы налегли на лобио, холодное и невероятно наперченное.

Захрустели редиской и луком. Каждый раз, когда я перекусывал стрелчатый стебель лука, он, словно сопротивляясь, выбрызгивал из себя острую пахучую струйку сока.

Неожиданно подошла официантка и поставила на стол бутылку вина и бутылку боржома.

– Ни за что, – сказал я решительно и снова поставил бутылку с вином на поднос.

– Не дай бог, – прошептал Валико и посмотрел на меня своими ясными и теперь уже испуганными глазами.

– В чем дело? – спросил я.

– Прислали, – сказала официантка и глазами показала в сторону компании.

Мы посмотрели туда и встретились глазами с парнем, который здоровался с Валико. Он смотрел в нашу сторону горделиво и добродушно. Валико кивком поблагодарил его и укоризненно покачал головой. Парень горделиво и скромно опустил глаза. Официантка отошла с пустым подносом.

– Я не буду пить, – сказал я.

– Не обязательно пить – пусть стоит, – ответил Валико.

Мы принялись за еду. Я почувствовал, что бутылка с вином как-то мешает.

Валико взял бутылку с боржомом и кротко спросил:

– Боржом можно налить?

– Боржом можно, – сказал я, чувствуя себя педантом

Выпив по стакану боржома, мы снова приступили к лобио.

– Очень острое. – заметил Валико, шумно втягивая воздух.

– Да, – согласился я. Лобио и в самом деле было как огонь.

– Интересно, почему в России перец не так любят? – отвлеченно заметил Валико и, потянувшись к бутылке с вином, добавил: – Наверно, от климата зависит?

– Наверно, – сказал я и посмотрел на него.

– Не обязательно пить – пусть стоит, – сказал Валико и разлил вино в стаканы.

Мягкий, душистый запах подымался из стаканов. Это была «изабелла», густо-пунцовая, как гранатовый сок. Валико вытер руки салфеткой и, дожевывая редиску, медленно потянулся к своему стакану.

– Не обязательно пить – попробуй, – сказал он и посмотрел на меня своими ясными глазами.

– Я не хочу, – сказал я, чувствуя себя последним дураком.

– Чтоб я выкопал старые кости отца и бросил грязным, зловонным собакам, если не подымешь! – воскликнул он неожиданно и замолк. В его огромных голубых глазах застыл ужас неслыханного святотатства. Я слегка обалдел от этого внезапного взрыва родовой клятвы.

– Старые кости отца – грязным собакам! – конспективно напомнил он и безропотно склонился над столом. Мне стало страшно.

Ничего, подумал я, от этой бутылки мы не опьянеем. Тем более что у меня преимущество: я знал, что он меня хочет напоить, а он не знает, что я знаю.

Мы допивали по последнему стакану. Я чувствовал, что хорошо контролирую себя и обмануть меня невозможно, да и, в сущности, Валико приятный парень, и все получается, как надо.

Подошла официантка с двумя шипящими шашлыками на вертеле.

– Пошли им от нашего имени бутылку вина и плитку шоколада для женщины, – сказал Валико, с медлительностью районного гурмана освобождая от шампура все еще шипящее, всосавшееся в железо мясо.

«Братский обычай», – подумал я и вдруг сказал:

– Две бутылки и две плитки пошлите...

– Гость сказал: две бутылки, – торжественно подтвердил Валико, и она отошла.

Через несколько минут парень из-за того стола укоризненно качал головой, а Валико горделиво и скромно опускал глаза. А потом он нам прислал две бутылки вина, а Валико укоризненно покачал головой и даже пригрозил ему пальцем, на что парень еще скромней и горделивей опустил голову.

Потом мы несколько раз подымались и важно пили за наших новых друзей, и за их старых родителей, и за прекрасную представительницу великого народа. Лучи заходящего солнца били ей в спину и просвечивались в ее волосах, а навстречу солнечным лучам лился поток комплиментов, обдавая ее лицо, шею и особенно открытые плечи.

– Выпьем за козлотура, – как-то интимно предложил Валико после того как, взаимоистощившись, замолкли наши коллективные тосты.

– Выпьем, – сказал я, и мы выпили.

– Между прочим, хорошее начинание, – сказал Валико, и на губах у него появилась загадочная полуулыбка, значение которой я понял не сразу.

– Дай бог, чтоб получилось, – сказал я.

– Говорят, в других районах тоже начинают. – Загадочная полуулыбка не сходила с его губ.

– Понемногу начинают, – сказал я.

– Имеет очень большое значение, – заметил Валико. Теперь глаза его блестели голубым загадочным блеском.

– Имеет, – подтвердил я.

– Интересно, что про козлотура говорят враги? – неожиданно спросил он.

– Пока, кажется, молчат, – сказал я.

– Пока, – многозначительно протянул он. – Козлотур – это не просто, – добавил он, немного подумав.

– Сначала все не просто, – сказал я, стараясь уловить, к чему он клонит.

– В другом смысле, – заметил он и, вдруг обдав меня голубым огнем своих глаз, быстро прибавил: – За рога выпьем отдельно?

– Выпьем, – сказал я, и мы выпили.

Валико почему-то погрустнел и стал закусывать шашлыком.

– Дочка есть, – сказал он, подняв на меня свои погрустневшие глаза, – три года.

– Прекрасный возраст, – поддержал я, как мог, семейную тему.

– Все понимает, несмотря что девочка, – с обидой заметил он.

– Это большая редкость, – сказал я, – тебе просто повезло, Валико.

– Да, – согласился он, – для нее мучаюсь. Но не думай, что жалуюсь, с удовольствием мучаюсь, – добавил он.

– Понимаю, – сказал я, хотя уже ничего не понимал.

– Не понимаешь, – догадался Валико.

– Почему? – спросил я и вдруг заметил, что ясные голубые глаза Валико стекленеют.

– Чтoб я этого невинного ребенка сварил в котле для мамалыги...

– Не надо! – воскликнул я.

– Сварил в котле для мамалыги, – безжалостно продолжал он, – и съел ее детское мясо своими руками, если ты мне не скажешь, для чего козлотуры, хотя я и сам знаю! – произнес он с ужасающей страстью долго молчавшего

правдоискателя.

– Как для чего? Мясо, шерсть, – пролепетал я

– Сказки! Атом добывают из рогов, – уверенно произнес Валико.

– Атом!

– Точно знаю, что добывают атом, но как добывают, пока еще не знаю, – сказал он убежденно. Теперь на губах его снова играла загадочная полуулыбка человека, который знает больше, чем говорит.

Я посмотрел в его добрые, голубые, ничего не понимающие глаза и понял, что переубедить его мне не под силу.

– Клянусь прахом моего деда, что я ничего такого не знаю! – воскликнул я.

– Значит, вам тоже не говорят, – удивился Валико, но удивился не тому, что нам тоже не говорят, а тому, что загадка оказалась еще глубже, чем он ожидал.

* * *

Мы вышли из закуской. Над нами темнело теплое звездное небо. Небосвод покачивался и то приближался, то отходил, но и когда отходил, он был гораздо ближе, чем обычно. Большие незнакомые звезды вспыхивали и мерцали. Странные, незнакомые мысли вспыхивали и мерцали в моей голове. Я подумал, что, может быть, мы сами приблизились к небу после такой дружеской выпивки. Какое-то созвездие упрямо мерцало над моей головой. И вдруг я почувствовал, что эти светящиеся точки напоминают что-то знакомое. Голова козлотура, радостно подумал, только один глаз совсем маленький, подслеповатый, а другой большой и все время подмигивает.

– Созвездие Козлотура, – сказал я.

– Где? – спросил Валико.

– Вон, – сказал я и, обняв его одной рукой, показал на созвездие.

– Значит, уже переименовали? – спросил Валико, глядя на небо.

– Да, – подтвердил я, продолжая глядеть на небо. Это была настоящая голова козлотура, только один глаз его все время подмигивал, и я никак не мог понять, что означает его подмигивание.

– Если что не так, прости, – сказал Валико.

– Это ты меня прости, – сказал я.

– Если хочешь посмотреть, как спит козлотур, поедем, – сказал Валико.

– Нет, – сказал я, – у меня срочное задание.

– Если ты меня простишь, я уеду, – сказал он, – потому что еще успею в кино.

Мы обнялись, как братья по козлотуру. Валико влез в машину.

– Никуда не уходи и жди зугдидскую машину, – сказал он.

Я почему-то надеялся, что у него не сразу заведется мотор. Но он сразу его завел и еще раз крикнул мне:

– На другую не садись, жди зугдидскую!

Шум мотора несколько минут доносился из темноты, а потом смолк. Звезды, одиночество и теплая летняя ночь.

По ту сторону шоссе темнел парк, а за ним было море, откуда раздавался приглушенный зеленью парка шум прибоя.

Мне захотелось к морю. Я встал и пошел через шоссе. Я помнил, что мне надо дождаться автобуса, но почему-то казалось, что автобуса можно подождать и у моря.

Я пошел по парковой дорожке, окруженной черными силуэтами кипарисов и светлыми призраками эвкалиптов. С моря потягивало прохладой, листья эвкалиптов издавали еле слышный звон. Время от времени я поглядывал на небо. Созвездие Козлотура прочно стояло на месте.

Я был не настолько пьян, чтобы ничего не соображать, но все же настолько пьян, что думал: все соображаю.

На скамейке у самого моря сидели двое. Я немедленно подошел к ним. Они молча уставили на меня голубоватые лица.

– Подвиньтесь, – сказал я парню и, не дожидаясь приглашения, уселся между ними.

Девушка кротко засмеялась.

– Не бойтесь, – сказал я мирно, – я вам что-то покажу.

– А мы и не боимся, – сказал парень, по-моему, не слишком уверенно. Я оставил его слова без внимания.

– Посмотрите на небо, – сказал я девушке нормальным голосом. – Что вы там видите?

Девушка посмотрела на небо, потом на меня, пытаясь определить, пьяный я или сумасшедший.

– Звезды, – сказала она преувеличенно естественным голосом.

– Нет, вы сюда посмотрите, – терпеливо возразил я и, пытаясь точнее направить ее взгляд на созвездие Козлотура, слегка придержал ее за плечо.

– Пойдем, а то закроют, – угрюмо напомнил парень, стараясь избежать катастрофы.

– Что закроют? – вежливо повернулся я к нему. Мне приятно было чувствовать, что он боится меня, и в то же время сознавать, что я предельно корректен.

– Турбазу закроют, – сказал он.

Я почувствовал, что между созвездием Козлотура и турбазой есть какое-то таинственное созвучие, как бы опасная связь.

– Интересно, почему вы вспомнили турбазу? – спросил я у парня, кажется, строже, чем надо.

Парень молчал. Я посмотрел на девушку. Она зябко закуталась в шерстяную кофту, накинутую на плечи, словно от меня исходил космический холод.

Я посмотрел на небо: морда козлотура, очерченная светящимися точками, покачивалась, то приближаясь, то удаляясь. Большой глаз время от времени подмигивал. Я понимал, что подмигивание что-то означает, но никак не мог догадаться, что именно.

– Козлотуризм – лучший отдых, – сказал я.

– Можно мы пойдем? – тихо сказала девушка.

– Идите, – ответил я спокойно, но все-таки давая знать, что я в них разочарован.

Через мгновение они куда-то провалились. Я закрыл глаза и стал обдумывать, что означает подмигиванье козлотура. Равномерные удары волн обдавали меня свежей прохладой и на миг заволакивали сознание, а потом оно высывалось из забвения, как обломок скалы из пены прибоя.

Внезапно я открыл глаза и увидел перед собой двух милиционеров.

– Документы, – сказал один из них.

Я автоматически вынул из кармана паспорт, протянул его и снова закрыл глаза. Потом я открыл глаза и удивился, что они все еще тут. Мне показалось, что прошло много времени.

– Здесь спать нельзя, – сказал один из них и вернул мне паспорт.

– Жду зугдидскую машину, – сказал я и снова закрыл глаза, вернее, прекратил усилия удержать их открытыми.

Милиционеры тихо рассмеялись.

– А вы знаете, который час? – сказал один из них. Я почувствовал неприятную ненормальность в левой руке, вскинул ее и увидел, что на ней нет часов.

– Часы! – воскликнул я и вскочил. – Украли часы!

Я окончательно проснулся и отрезвел. Было уже совсем светло. Из ущелья со стороны гор дул сырой ветер, в море работал сильный накат. На берегу напротив нас стоял отдыхающий старик и делал физзарядку. Он медленно, страшно медленно присел на длинных тонких ногах. Он так трудно присел, что сделалось тревожно – сможет ли встать. Но старик, передохнув на корточках, пошатываясь, медленно поднялся и, вытянув руки, застыл, не то устанавливая равновесие, не то прислушиваясь к тому, что произошло внутри него после упражнения.

Милиционеры, так же как и я, следили за стариком. Теперь, успокоившись за него, один из них спросил:

– Какие часы – «Победа»?

– «Докса», – ответил я с горечью и в то же время гордясь ценностью потери – швейцарские часы.

– С кем были? – спросил другой милиционер.

– Сам был, – сказал я на всякий случай.

– Пройдем в отделение, составим акт, – сказал тот, что брал паспорт, – если найдутся – известим.

– Пойдемте, – сказал я, и мы пошли.

Мне было очень жалко своих часов, я к ним привык, как к живому существу. Мне их подарил дядя после окончания школы, и я их носил столько лет, и с ними ничего не случилось. Водонепроницаемые, антимагнитные, небьющиеся, с черным светящимся циферблатом, похожим на маленькое ночное небо. В общежитии института я их иногда забывал в умывалке, и мне их приносила уборщица или кто-нибудь из ребят, и я как-то поверил про себя, что они ко всем своим достоинствам еще и нетеряющиеся.

– Паспорт есть на часы? – спросил один из милиционеров.

– Откуда, – сказал я, – они трофейные, дядя привез с войны.

– Номер помните? – спросил он снова.

– Нет, – сказал я, – я их и так узнаю, если увижу.

Мы наискосок пересекли парк и вышли на тихую незнакомую улицу. На этой улице, как и во всем этом городке, стояли одноэтажные дома на длинных рахитичных сваях. Жители этого городка только тем и заняты, что строят вот такие дома. Построив, тут же начинают продавать или менять с приплатой в ту или другую сторону за какие-то никому не понятные преимущества, – ведь все они похожи друг на друга, как курятники. Причем сами они в этих домах почти не живут, потому что на полгода отдают их курортникам, чтобы накопить деньги и яростно приняться за строительство нового дома с еще более длинными и более рахитичными ножками. Достоинство человека здесь определяется одной фразой: «Строит дом».

Строит дом, – значит, порядочный человек, приличный человек, достойный человек. Строит дом – значит, человек при деле, независимо от службы, значит, человек пустил корень, то есть в случае чего никуда не убежит, а стало быть, пользуется доверием, а раз уж пользуется доверием, можно его приглашать на свадьбы, на поминки, выдать за него дочь или жениться на его дочери и вообще иметь с ним дело.

Я об этом говорю не потому, что у меня здесь украли часы, я и до этого так думал. Причем тут даже нет какой-то особой личной корысти, потому что дом – это только символ, и даже не сам дом, а процесс его строительства. И если бы, скажем, условиться, что отныне достоинство человека будет измеряться количеством павлинов, которых он у себя развел, они бы все бросились разводить павлинов, менять их, щупать хвосты и хвастаться величиной павлиньих яиц.

Страсть к самоутверждению принимает любые, самые неожиданные символы, лишь бы они были достаточно наглядны и за ними стоял золотой запас истраченной энергии.

Скрипнула калитка, и мы вошли в зеленый дворик милиции. Траву, видно, здесь тщательно выращивали, она была густая, курчавая и высокая. Посреди двора стояла развесистая шелковица, под которой уютно расположились скамейки и столик для нардов или домино, намертво вбитый в землю. Вдоль штакетника в ряд росли юные яблони. Они были густо усеяны плодами. Это был самый гостеприимный дворик милиции из всех, которые я когда-либо видел. Легко было представить, что в таком дворе осенью начальник милиции варит варенье, окруженный смирившимися преступниками.

К помещению милиции вела хорошо утоптанная тропа. В комнате, куда мы вошли, за барьером сидел милиционер, а у входа на длинной скамье парень и девушка. Девушка мне показалась похожей на вчерашнюю, но на этой не было кофточки. Я пытливо посмотрел ей в глаза.

Один из моих милиционеров куда-то вышел, а второй сел на скамью и сказал мне:

– Пишите заявление.

Потом он оглядел парня и девушку и посмотрел на того, что сидел за барьером.

– Гуляющие без документов, – скучно пояснил тот.

Девушка отвернулась и теперь смотрела в открытую дверь. Мне она опять показалась похожей на вчерашнюю.

– А где ваша кофточка? – спросил я у нее неожиданно, почувствовав в себе трепет детективного безумия.

– Какая еще кофта? – сказала она, окинув меня высокомерным взглядом, и снова отвернулась к дверям.

Парень тревожно посмотрел на меня.

– Извините, – пробормотал я, – я спутал с одной знакомой.

По голосу я понял, что это не она. На лица-то у меня плохая память, но голоса я помню хорошо. Я вынул блокнот, подошел к барьеру и стал обдумывать, как писать заявление.

– На этой нельзя, – сказал сидевший за барьером и подал мне чистый лист.

Я смирился, окончательно поняв, что мне все равно не дадут использовать свой блокнот.

– Отпустите, товарищ милиционер, – невнятно заканючил парень, – большое дело, что ли...

– Придет товарищ капитан и разберется, – сказал тот, что сидел за барьером, ясным миротворческим голосом.

Парень замолчал. В открытые окна милиции доносилось далекое шарканье

дворничьей метлы и чириканье птиц.

– Сколько можно ждать, – сказала девушка сердито, – мы уже здесь полтора часа.

– Не грубите, девушка, – сказал милиционер, не повышая голоса и не меняя позы. Он сидел за столиком, подперев щеку рукой и сонно пригорюнившись. – Товарищ капитан делает обход. Имеются факты изнасилования, – добавил он, немного подумав, – а вы гуляете без документов.

– Не говорите глупости, – строго сказала девушка.

– Чересчур ученая, а скромности не хватает, – не повышая голоса, грустно сказал милиционер. Он сидел все так же, не меняя позы, сонно пригорюнившись.

Я написал заявление, и он глазами показал, чтоб я положил его на стол.

В это время за барьером открылась дверь и оттуда вышел, поеживаясь и поглаживая красивое полное лицо, высокий плотный человек.

– А вот и товарищ капитан! – радостно воскликнул сидевший за барьером и, бодро вскочив, уступил место капитану.

– Что-то я не слышала машины, – сказала девушка дерзко и снова отвернулась к дверям.

– В чем дело? – спросил капитан, усаживаясь и хмуро оглядывая девушку.

– Гуляющие без документов, – доложил звонким голосом тот, что был за барьером. – Около четырех часов обнаружены в прибрежной полосе. Она говорит, что не хочет будить хозяйку, а кавалер на том конце города живет.

– Товарищ капитан... – начал было парень.

– Сбегаешь за паспортом, а она останется под залог, – перебил его капитан.

– Но ведь сейчас машины не ходят, – начал было парень.

– Ничего, молодой, сбегаешь, – сказал капитан и вопросительно посмотрел на меня.

– Вот заявление, товарищ капитан, – показал на стол тот, что стоял за барьером.

Капитан склонился над моим заявлением. Милиционер, тот, что пришел со мной, теперь стоял в бодрой позе, готовый внести нужные дополнения.

– Ты не волнуйся, я мигом, – шепнул парень девушке и быстро вышел.

Девушка ничего не ответила.

Из открытых окон доносилось равномерно приближающееся шарканье метлы и неистовое пенье птиц. Губы капитана слегка шевелились.

– Паспорт есть? – спросил он, подняв голову.

– Они трофейные, – ответил я, – мне дядя подарил.

– При чем дядя? – поморщился капитан. – Ваш паспорт покажите.

– А, – сказал я и подал ему паспорт.

– Спал на берегу моря, – вставил тот, что привел меня, – когда мы его разбудили, сказал, что украли часы.

– Интересно получается, – сказал капитан, с любопытством оглядывая меня, – вы пишете, что ждали зугдидскую машину, а разбудили вас на берегу. Вы что, с моря ее ждали?

Оба милиционера сдержанно засмеялись.

– Зугдидская машина проходит в одиннадцать вечера, а мы его разбудили в шесть утра, – заметил тот, что привел меня, как бы раскрывая новые грани проницательности капитана.

– Может, вы ждали ее обратным рейсом? – высказал капитан неожиданную догадку. Чувствовалось, что он страдает, стараясь извлечь из меня смысл.

– Да, обратным рейсом в Зугдиди, – неизвестно зачем сказал я, может быть, чтобы успокоить капитана.

– Тогда другое дело, – сказал капитан и, протягивая мне паспорт, спросил: – А где вы работаете?

– В газете «Красные субтропики», – сказал я и протянул руку за паспортом.

– Тогда почему не взяли номер в гостинице? – снова удивился капитан и опять раскрыл мой паспорт. – Нехорошо получается, – сказал капитан и зацокал. – Что я теперь скажу Автандилу Автандиловичу...

Господи, подумал я, здесь все друг друга знают.

– А зачем вам ему что-то говорить? – спросил я. Этого еще не хватало, чтобы редактор узнал о моей потере. Начнутся расспросы, да и вообще неудачников не любят.

– Нехорошо получается, – задумчиво проговорил капитан, – приехали к нам в город, потеряли часы... Что подумает Автандил Автандилович...

– Вы знаете, – сказал я, – мне кажется, я их оставил в Ореховом Ключе...

– Ореховый Ключ? – встрепенулся капитан.

– Да, я был там в командировке по вопросу о козлотурах...

– Знаю, интересное начинание, – заметил капитан, внимательно слушая меня.

– Мне кажется, я там оставил часы.

– Так мы сейчас позвоним туда, – обрадовался капитан и схватил трубку.

– Не надо! – закричал я и шагнул к нему.

– А-а, – капитан хлопнул в ладоши, и лицо его озарилось лукавой догадкой, – теперь все понимаю, вам устроили хлеб-соль...

– Да, да, хлеб-соль, – подтвердил я.

– Между прочим, туда проехал Вахтанг Бочуа, – вставил тот, что пришел со мной.

– Вам устроили хлеб-соль, – продолжал свою лукавую догадку капитан, – и вы подарили кому-то часы, а вам подарили портсигар, – закончил он радостно и победно оглядел меня.

– Какой портсигар? – не сразу уловил я ход его мысли.

– Серебряный, – добродушно пояснил капитан.

– Нет, я так подарил, – сказал я.

– Так не бывает, – добродушно опроверг капитан, – значит, вам что-то обещали подарить. Почему стоите, садитесь, – добавил он и вынул из кармана пачку «Казбека». – Курите?

– Да, – сказал я и взял папиросу. Капитан дал мне прикурить и закурил сам.

Милиционер, тот, что был за барьером, вышел во внутреннюю дверь, как только капитан закурил. Тот, что привел меня, стоял, незаметно прислонившись к подоконнику.

– В прошлом году был в Сванетии, – сказал капитан, пуская в потолок струю дыма, – местный начальник отделения устроил хлеб-соль. Ели-пили, а потом дарят мне оленя. Хотя зачем мне олень? Не взять – смертельно обидятся. Я принял подарок и в свою очередь обещал местному отделению два ящика патронов. Как только приехал – отослал.

– А оленя взяли? – спросил я.

– Конечно, – сказал он, – Неделю жил дома, а потом сын отвел его в школу. Мы, говорит, из него козлотура сделаем. Пожалуйста, говорю, делайте, все равно в городских условиях оленя негде держать.

Капитан крепко затянулся. На его круглом лице было написано спокойствие и благодушие. Я был рад, что он забыл про часы. Все-таки было бы неприятно, если б об этом узнал мой редактор.

– У сванов отличный стол, – продолжал вспоминать капитан, – но все портит арака. – Он посмотрел на меня и сморщился. – Неприятный напиток, хотя, – примирительно добавил он, – дело в привычке...

– Конечно, – сказал я.

– Но в Ореховом Ключе «изабелла», как орлиная кровь...

«У вас тоже неплохая», – подумал я.

Капитан тихо рассмеялся и вдруг спросил:

– А этого спящего агронома видели?

– Видел, – сказал я. – Отчего это он спит?

– Чудак человек, – снова рассмеялся капитан, – у него болезнь такая. Несмотря на то, что спит, первый специалист по чаю. В районе такого нет.

– Да, плантации у них чудесные, – сказал я и вспомнил девушку Гоголу над зелеными курчавыми кустами.

– В прошлом году у них в колхозе «чепе» произошло. Кто-то несгораемый

шкаф украл.

– Несгораемый шкаф?

– Да, несгораемый шкаф, – сказал капитан. – Я выезжал сам. Украсть украли, но открыть не смогли. Спящий агроном помог нам найти. Очень умный человек... Но, между прочим, «изабелла» коварное вино, – продолжал капитан, не давая далеко уходить от главной темы. – Пьешь, как лимонад, и только потом дает знать.

Он посмотрел на меня, потом на девушку и сказал ей:

– Идите, девушка, только больше так поздно не гуляйте.

– Я подожду его, – сказала она и сурово отвернулась к выходу.

– Во дворе подождите, там птички поют. – И строго добавил: – Избегайте случайных знакомств, а теперь идите.

Девушка молча вышла. Капитан кивнул в ее сторону и сказал:

– Обижаются за профилактику, а потом сами прибегают и жалуются: «Изнасиловал! Ограбил!» Кто – не знает, где прописан – никакого представления. Как с ним оказалась? Молчит. – Капитан посмотрел на меня обиженными глазами.

– Молодо-зелено, – сказал я.

– В том-то и дело, – согласился капитан.

Птицы во дворе милиции заливались на все голоса. Метла дворника теперь шаркала у самых ворот.

– Костя, – обратился капитан к милиционеру, – полей тротуар и двор, пока не жарко.

– Хорошо, товарищ капитан, – сказал милиционер.

– Завтра пойдешь в цирк, – остановил он его в дверях.

– Хорошо, товарищ капитан, – радостно повторил милиционер и вышел.

– Что за цирк? – спросил я и тут же подумал, что задаю бестактный вопрос, если это какой-то условный знак.

– Цирк приехал, – просто сказал капитан, – отличников службы для поощрения посылаем дежурить в цирк.

– А-а, – понял я.

– Исполнительный и толковый работник. – Капитан кивнул на дверь и прибавил: – Двадцать три года, уже дом строит.

– Пожалуй, я тоже пойду, – сказал я.

– Куда спешите, – остановил меня капитан и посмотрел на часы, – до зугдидской машины еще ровно час и сорок три минуты...

Я снова сел.

– Но лучшая закуска для «изабеллы» знаете какая? – Он посмотрел на меня с добродушным коварством.

– Шашлык, – сказал я.

– Извините, дорогой товарищ, – с удовольствием возразил капитан и даже вышел из-за барьера, словно почувствовал во мне дилетанта, с которым надо работать и работать. – «Изабелла» любит вареное мясо с аджикой. Особенно со спины – филейная часть называется, – пояснил он, притронувшись к затылку. – Но ляжка тоже неплохо, – добавил он, немного помедлив, как человек, который прежде всего озабочен справедливостью или, во всяком случае, не собирается проявлять узость взгляда. – Мясо с аджикой вызывает жажду, – сказал капитан и остановился передо мной. – Ты уже не хочешь пить, но организм сам требует! – Капитан радостно развел руками в том смысле, что ничего не поделаешь – раз уж организм сам требует. Он снова зашагал по комнате. – Но белое вино мясо не любит, – неожиданно предостерег он меня и, остановившись, тревожно посмотрел на меня.

– А что любит белое вино? – спросил я озабоченно.

– Белое вино любит рыбу, – сказал он просто. – Ставрида, – капитан загнул палец, – барабулька, кефаль или горная рыба – форель. Иф, иф, иф, – присвистнул от удовольствия капитан. – А к рыбе, кроме алычовой подливки и зелени, ничего не надо! – И, как бы оглядев с гримасой отвращения остальные закуски, энергичным движением руки отбросил их в сторону.

Так мы поговорили с дежурным капитаном некоторое время, и наконец, убедившись, что он достаточно далеко ушел от моих часов, я попрощался с ним и вышел. Но тут он снова окликнул меня.

– Заявление возьмите, – сказал он и подал мне его. – Не беспокойтесь, – добавил он, заметив, видимо, что возвращаться к этой теме мне неприятно, – добровольный подарок проходит как местный национальный обычай.

После этой небольшой юридической консультации я окончательно попрощался с ним и вышел.

Мокрый дворик милиции сверкал на еще нежарком утреннем солнце. Милиционер деловито поливал из шланга молодую яблоню. Когда струя попадала в листья, раздавался глухой шелест, и по листве пробегал мощный, благодарный трепет, и радужная пыль отлетала от мокрой, упруго вздрагивающей листвы.

Девушка сидела под шелковицей и, глядя на ворота милиции, ждала своего возлюбленного.

На улице я изорвал свое заявление и бросил его в урну. Я едва успел на свой автобус. Всю дорогу я обдумывал свою будущую статью о козлотуре из Орехового Ключа. Мне казалось, что горечь потери часов внесет в мою статью тайный лиризм, и это в какой-то мере меня утешало.

* * *

Дома я решил сказать, что часы у меня украли в гостинице. Дядя, который, как я думал, давно забыл о подаренных часах, воспринял эту новость болезненно. Кстати говоря, он широко известен в нашем городе как один из лучших таксистов. Дня через два после моего приезда он прикатил к нам прямо с клиентами и стал расспрашивать, что и как.

– Мне дали номер с одним человеком, утром встаю, – ни человека, ни часов, – сказал я горестно.

– А как он выглядел? – спросил дядя, загораясь мстительным азартом.

– Когда я вошел, он спал, – сказал я.

– Дуралей, – сказал дядя, – во-первых, не спал, а притворялся, что спит. Ну а дальше?

– Утром встаю – ни человека, ни часов...

– Заладил, – перебил он меня нетерпеливо, – неужели не заметил, какой он был с виду?

– Он был укрыт одеялом, – сказал я твердо. Я боялся говорить ему что-нибудь определенное. Я боялся, что при его решительном характере он начнет мне привозить всех заподозренных клиентов, да еще прямо в редакцию.

– В такую жару укрылся с головой! – воскликнул дядя, – Умного человека уже одно это должно было насторожить. А часы где были?

– Часы лежали под подушкой, – сказал я твердо.

– Зачем? – сморщился он. – Не надо было снимать, они же небьющиеся.

А я и не снимал, чуть было не сказал я, но вовремя спохватился.

– А что сказала администрация? – не унимался Дядя.

– Они сказали, что надо было отдать им на хранение, – ответил я, вспомнив инструкцию общественной бани.

Я думаю, он бы меня запутал своими вопросами, если бы пассажиры не подняли шум под нашими окнами. Они сначала гудели в клаксон, а потом стали стучать в окно.

– С попутным рейсом заеду и устрою им веселую жизнь! – пообещал он на ходу, выскакивая на улицу.

Он был так огорчен потерей, что я сначала подумал: не собирался ли он отобрать их у меня по истечении какого-то срока? Но потом я догадался, что потеря подарка вообще воспринимается подарившими как проявление неблагодарности. Когда нам что-нибудь дарят, в нас делают вклад, как в сберкассе, чтобы получать маленький (как и в сберкассе), но вечный процент благодарности. А тут тебе сразу две неприятности: и вклад потерян, и благодарность иссякла.

К счастью, попутного рейса в ближайшее время не оказалось, и дядя постепенно успокоился. Но я заскочил вперед, а мне надо вернуться ко дню моего приезда из командировки. По правде говоря, мне неохота возвращаться к нему, потому что приятного в нем мало, но это необходимо для ясности изложения.

Ровно в девять часов (по городским башенным часам) я вошел в редакцию. Платон Самсонович уже сидел за своим столом. Увидев меня, он встрепенулся, и его свеженакрахмаленная сорочка издала треск, словно она наэлектризовывалась от соприкосновения с его ссохшимся телом энтузиаста.

Я понял, что у него появилась новая идея, потому что он каждый свой творческий всплеск отмечал свежей сорочкой. Так что если с точки зрения гигиены он их менял не так уж часто, то с точки зрения развития новых идей он находился в состоянии непрерывного творческого горения. Так оно и оказалось.

– Можешь меня поздравить, – воскликнул он, – у меня оригинальная идея.

– Какая? – спросил я.

– Слушай, – сказал он, сдержанно сияя, – сейчас все поймешь. – Он придвинул к себе листок бумаги и стал писать какую-то формулу, одновременно поясняя ее: – Я предлагаю козлотура скрестить с таджикской шерстяной козой, и мы получаем:

Коза x Тур = Козлотур.

Козлотур x Коза (тадж.) = Козлотур ².

Козлотур в квадрате будет несколько проигрывать в прыгучести, зато в два раза выигрывать в шерстистости. Здорово? – спросил он и, отбросив карандаш, посмотрел на меня блестящими глазами.

– А где вы возьмете таджикскую козу? – спросил я, стараясь подавить в себе ощущение какой-то опасности, которую излучали его глаза.

– Иду в сельхозуправление, – сказал он и встал, – нас должны поддержать. Ну как ты съездил?

– Ничего, – ответил я, чувствуя, что он сейчас далек от меня и спрашивает просто так, из вежливости.

Он ринулся к двери, но потом вернулся и вложил листок с новой формулой в ящик стола. Закрыв ящик ключом, подергал его для проверки и вложил ключ в карман.

– Пока про это молчи, – сказал он на прощанье, – а ты пиши очерк, сегодня сдадим.

В его голосе прозвучало сознание превосходства думающего инженера над рядовым исполнителем. Я сел за стол, пододвинул пачку чистых листов, вынул ручку и приготовился писать. Я не знал, с чего начать. Вынул блокнот, зачем-то стал его перелистывать, хотя и знал, что он так и остался незаполненным.

Если судить по нашей газете, было похоже, что колхозники, за исключением самых несознательных, только и заняты козлотурами. Но в селе Ореховый Ключ

все выглядело гораздо скромней. Я понимал, что прямо посягнуть на козлотура было бы наивностью, и решил действовать методом Иллариона Максимовича – то есть поддерживать идею в целом с некоторой отрицательной поправкой на местные условия. Пока я раздумывал, как начать, открылась дверь, и вошла девушка из отдела писем.

– Вам письмо, – сказала она и странно посмотрела на меня.

Я взял письмо и вскрыл его. Девушка продолжала стоять в дверях. Я посмотрел на нее. Она неохотно повернулась и медленно закрыла дверь.

Это было письмо оттуда, от моего товарища. Он писал, что до них дошли известия о нашем интересном начинании с козлотурами и редактор просит меня написать очерк, потому что хотя я и ушел от них, но они по-прежнему считают меня своим товарищем по перу, которого они выпестовали. Товарищ мой иронически цитировал его слова. Кстати сказать, письма – это единственный вид корреспонденции, где он позволял себе иронизировать.

Выходит, сначала меня выпестовали, а потом я сам ушел.

Не могу сказать, что остальная часть письма мне больше понравилась. В ней сообщалось, что он ее видит иногда в обществе майора. Поговаривают, что она вышла за него замуж, хотя это еще не точно, добавлял он в конце.

Конечно, точно, подумал я и отложил письмо. Я заметил, что иногда люди смягчают неприятные известия не из жалости к нам, а скорее, из жалости к себе, чтобы не говорить приличные по такому поводу слова сочувствия, призывать к суровому мужеству или тем более бежать за водой.

Не буду преувеличивать. У меня не хлынула горлом кровь и не открылась старая рана. Скорее, я почувствовал некоторую тупую боль, какая бывает у ревматиков перед плохой погодой. Я решил ее тоже каким-то боком приспособить к своему очерку, чтобы она помогла мне вместе с потерянными часами. У меня такая теория, что всякая неудача способствует удаче, только надо умело пользоваться своими неудачами. У меня есть опыт по части неудач, так что я научился ими хорошо пользоваться.

Только нельзя использование неудач понимать примитивно. Например, если у вас украли часы, то это не значит, что вы тут же научитесь определять время по солнечным часам. Или немедленно сделаетесь счастливым, и вам, согласно пословице, будет просто незачем наблюдать часы.

Но главное даже не это. Главное – та праведная, но бесплодная ярость, которая вас охватывает при неудаче. Ярость эта предстает в чистом виде, ее как бы исторгает сама неудача, и, пока она бурлит в вашей крови, спешите ее использовать в нужном направлении.

Но при этом нельзя отвлекаться на мелочи, что, к сожалению, бывает со многими.

Иной в состоянии благородной ярости, скажем, решил позвонить и хотя бы по телефону-автомату сделать самый смелый, самый значительный поступок в своей жизни – и вдруг автомат, ни с кем его не соединив, проглатывает монету.

Неожиданно человек начинает биться в судорогах, он конвульсивно дергает рычаг трубки, словно это кольцо никак не раскрывающегося парашюта. А потом, что еще более нелогично, старается просунуть лицо в выем для монет, который обычно не больше спичечной коробки, и, следовательно, просунуть голову туда никак невозможно. Ну хорошо, положим, он просунет голову в этот несчастный выем, что он там увидит? И даже если увидит свою монету, ведь не слизнет же он ее оттуда языком?

В конце концов, опустошив свою ярость в этих бессмысленных ковыряниях, он выходит из телефонной будки и неожиданно, может быть, даже для себя садится в кресло чистильщика обуви, словно и не было никакой благородной ярости, а так, вышел на прогулку и решил попутно навести блеск на свои туфли, а уже заодно и купить у чистильщика пару запасных шнурков. И вот он сидит в кресле чистильщика и, что особенно возмутительно, бесконечно возится с этими шнурками, то проверяя наконечники, то сравнивая их длину, сидит, слегка оттопырив губы, как бы издавая бесшумный свист, и при этом на лице его деловитая безмятежность рыбака, распутывающего сети, или крестьянина, собирающегося на мельницу и прощупывающего старый мешок.

Где ты, благородная ярость?

А иной, находясь в этом высоком состоянии, неожиданно бросается за мальчишкой, который случайно попал в него снежком. Ну ладно, пусть не случайно, но зачем взрослому человеку сворачивать со своей благородной стези и гнаться за мальчишкой, тем более что гнаться за ним бесполезно, потому что он знает все эти проходные дворы, как собственный пенал и даже лучше, он и бежит от него нарочно не слишком быстро, чтобы ему было интересней. А человек в этой непредвиденной пробежке растряс всю свою ярость и внезапно останавливается перед продуктовым складом и смотрит, как грузчики скатывают огромные бочки с грузовика, словно именно для этого он и бежал сюда целый квартал. Отдышавшись, он даже начинает давать им советы, хотя советов его никто не слушает, однако никто и не пресекает их, так что издали, со стороны, можно подумать, что грузчики работали под его руководством и, не успей он прибежать сюда вовремя, неизвестно, чего бы натворили эти грузчики со своими бочками. В конце концов бочки вкатывают в подвал, и он умиротворенно уходит, словно все, что он делал, было предусмотрено еще утром. Где ты, благородная ярость?

Пока я так думал, открылась дверь, и снова вошла девушка из отдела писем.

– Я вам бумаги принесла, – сказала она и положила стопку бумаги на стол Платона Самсоновича.

– Хорошо, – сказал я. На этот раз я был рад ее приходу. Она меня вывела из задумчивости.

– Ну, что пишут? – спросила она как бы между прочим.

– Просят статью о козлотуре, – ответил я как бы между прочим.

Она пытливо посмотрела мне в глаза и вышла. Я снова взялся за свой очерк. Козлотур стоял в центре очерка и выглядел великолепно. Село Ореховый Ключ

ликовало вокруг него, хотя по условиям микроклимата козлотур, к сожалению, невзлюбил местных коз. Я уже кончил очерк, когда раздался телефонный звонок. Звонил Платон Самсонович.

– Послушай, – сказал он, – не мог бы ты намекнуть в своем очерке, что колхозники поговаривают о таджикской шерстяной козе?

– В каком смысле? – спросил я.

– В том смысле, что они довольны козлотуром, но не хотят останавливаться на достигнутом, а то тут некоторые осторожничают...

– Но это же ваша личная идея? – сказал я.

– Ничего. – Платон Самсонович вздохнул в трубку. – Сочтемся славою... Сейчас лучше, чтобы эта идея шла снизу, это их подстегнет...

– Я подумаю, – сказал я и положил трубку.

Я знал, что некоторые места в моей статье ему не понравятся. Чтобы отвоевать эти места, я решил поддержать его новую идею, но это оказалось не так просто. Я перебрал в уме всех, с кем виделся в колхозе, и понял, что никто ничего подобного не мог сказать, кроме разве Вэханга Бочуа, но он не подходил для этой цели. В конце концов я решил этот намек поставить в конце очерка, как вывод, который сам напрашивается в поступательном ходе развития животноводства. «Не за горами время, – писал я, – когда наш козлотур встретится с таджикской шерстяной козой, и это будет новым завоеванием нашей мичуринской агробиологии».

Я перечитал свой очерк, расставил запятые, где только мог, и отдал машинистке. Я просидел над ним около трех часов и теперь чувствовал настоящую усталость и даже опустошенность. Я чувствовал себя опытным дипломатом, сумевшим срезать все острые углы: и козлотуры сыты, и председатель цел.

* * *

Я вышел из редакции и зашел в приморскую кофейню, расположенную во дворе летнего ресторана под открытым небом. Я сел за столик под пальмой и заказал себе бутылку боржома, пару чебуреков и две чашки кофе по-турецки. Съев чебуреки, я потихоньку вытер руки о мохнатый ствол пальмы, потому что салфеток, как всегда, не оказалось. После этого я стал потягивать крепкий густой кофе и снова почувствовал себя дипломатом, но теперь не только опытным, но пожившим дипломатом.

Гипнотический шорох пальмовых листьев, горячий кофе, прохладная тень, мирное шелканье четок старожиллов... Постепенно козлотуры уходили куда-то далеко-далеко, я погружался в блаженное оцепенение.

За одним из соседних столиков, окруженный старожилками, витийствовал Соломон Маркович, опустившийся зубной врач. Когда-то, еще до войны, его бросила и оклеветала жена. С тех пор он запил. Его здесь любят и угощают. И хотя его любят, я думаю, бескорыстно, все же людям приятно видеть человека, которому еще больше не повезло, чем им. Сейчас он рассказывал мусульманским старикам библейские притчи, перемежая их примерами из своей жизни.

– ...И они мне говорят: «Соломон Маркович, мы тебя посадим на бутылку». А я им отвечаю: «Зачем я сяду на бутылку, лучше я сяду прямо на пол».

Увидев меня, он неизменно говорит:

– Молодой человек, я тебе дам такой сюжет, такой сюжет, я тебе расскажу свою жизнь от рожденья до смерти.

После этого обычно ничего не остается, как поставить ему коньяк и чашку кофе по-турецки, но иногда это надоедает, особенно когда нет времени или настроения выслушивать чужие горести.

Вернувшись в редакцию, я зашел в машинное бюро за своим очерком. Машинистка сказала, что его забрал редактор.

– Что, сам взял? – спросил я, чувствуя безотчетную тревогу и, как всегда, интересуясь ненужными подробностями.

– Прислал секретаршу, – ответила она, не отрываясь от клавиш.

Я зашел в наш кабинет, сел за свой стол и стал ждать. Мне не очень понравилась поспешность нашего редактора. Я вспомнил, что в очерке остались две-три формулировки, по-моему, недостаточно отточенные. Кроме того, мне хотелось, чтобы его сначала прочел Платон Самсонович.

Я ждал вызова. Наконец прибежала секретарша и испуганно сказала, что меня ждет редактор. Хотя она обо всяком вызове редактора сообщала испуганным голосом, все-таки теперь это было неприятно.

Я открыл дверь кабинета. Рядом с Автандилом Автандиловичем сидел Платон Самсонович.

Редактор сидел в обычной для него позе пилота, уже выключившего мотор, но все еще находящегося в кабине. Жирные лопасти вентилятора были похожи на гигантские лепестки тропического цветка. Скорее всего, ядовитого.

Казалось, Автандил Автандилович только что облетел места моей командировки и теперь сравнивает то, что видел, с тем, что я написал.

Рядом с его крупной, породистой фигурой сухощавый Платон Самсонович выглядел в лучшем случае как дежурный механик. Сейчас он выглядел как провинившийся механик. Когда я подошел к столу Автандила Автандиловича, я почувствовал даже физически, как от его облика повеяло холодом, словно он еще был окружен атмосферой заоблачных высот, откуда только что прилетел.

Я почувствовал, что меня начинает сковывать этот заоблачный холод, и постарался стряхнуть с себя унижительное оцепенение, но ничего не получилось, может быть, потому, что он молчал. Мне вдруг показалось, что я в очерке все

перепутал, причем я даже отчетливо увидел всю эту бредовую путаницу и удивился, как я этого не заметил, когда его перечитывал. Мне даже показалось, что я везде Иллариона Максимовича назвал почему-то Максимом Илларионовичем, и это было особенно неприятно.

Наконец, почувствовав, что я дошел до определенной, нужной ему точки замерзания, он проговорил голосом, поддерживающим эту точку:

– Вы написали вредную для нас статью.

Я посмотрел на Платона Самсоновича. Платон Самсонович отвернулся к стене.

– Причем вы замаскировали ее вред, – добавил Автандил Автандилович, любясь моим замерзанием. – Сначала она меня даже подкупила, – добавил он, – есть удачные сравнения... Но все-таки это ревизия нашей основной линии.

– Почему ревизия? – сказал я. Голос мой подымался откуда-то из самой глубины, где осталось небольшое незамерзшее пространство.

– И потом, что вы за чепуху пишете насчет микроклимата? Козлотур – и микроклимат. Что это – апельсин, грейпфрут?

– Но ведь он не хочет жить с местными козами, – сказал я взволнованно, стараясь обезоружить его самой бесспорностью факта, и вдруг вспомнил и уверился, что в очерке ничего не напутано, а Илларион Максимович назван именно Илларионом Максимовичем.

– Значит, не сумели настроить его, не мобилизовали всех возможностей, а вы пошли на поводу...

– Это председатель его запутал, – вставил Платон Самсонович. – Я же предупреждал: основная идея твоего очерка – это «чай хорошо, но мясо и шерсть – еще лучше».

– Да вы знаете, – перебил его редактор, – если мы сейчас дадим лазейку насчет микроклимата, они все будут кричать, что у них микроклимат неподходящий... и это теперь, когда нашим начинанием заинтересовались повсюду?

– А разве мы и они – не одно и то же? – сорвалось у меня с губ, хотя я этого и не собирался говорить. Ну, теперь все, подумал я.

– Вот это и есть в плену отсталых настроений, – неожиданно спокойно ответил Автандил Автандилович и добавил: – Кстати, что это за ерундистика с таджикской шерстяной козой, что за фантазия, откуда вы это взяли?

Я заметил, что он сразу успокоился, – мое поведение объяснилось отчетливо найденной формулировкой.

Платон Самсонович поджал губы, на скулах у него выступили пятна румянца. Я промолчал. Автандил Автандилович покосился на Платона Самсоновича, но ничего не сказал. Несколько секунд он молчал, давая нам обоим осознать значительность моего падения. И тут я опять подумал, что все кончено, и в то же время я подумал, что если он меня решил изгонять, то должен был ухватиться за мои последние слова, но он почему-то за них не ухватился.

– Переработать в духе полной козлотуризации, – сказал он значительно и перекинул рукопись Платону Самсоновичу.

Откуда он знает это слово, подумал я и стал ждать.

– Вас я перевожу в отдел культуры, – сказал он голосом человека, выполняющего свой долг до конца, хотя это и не так легко. – Писать можете, но знания жизни нет. Сейчас мы решили провести конкурс на лучшее художественное произведение о козлотуре. Проведите его на хорошем столичном уровне... У меня все.

Автандил Автандилович включил вентилятор, и лицо его начало постепенно каменеть. Пока мы с Платоном Самсоновичем выходили из кабинета, я боялся, что его кружащийся самолет пустит нам вслед пулеметную очередь, и успокоился только после того, как за нами закрылась тяжелая дверь кабинета.

– Сорвалось, – сказал Платон Самсонович, когда мы вышли в коридор.

– Что сорвалось? – спросил я.

– С таджикской козой, – проговорил он, выходя из глубокой задумчивости, – ты не совсем так написал, надо было от имени колхозника...

– Да ладно, – сказал я. Мне как-то все это надоело.

– Козлотуризация... бросается словами, – кивнул он в сторону кабинета Автандила Автандиловича, когда мы вошли в свой отдел.

Я стал собирать бумаги из ящика своего стола.

– Не унывай, я тебя потом возьму снова в свой отдел, – пообещал Платон Самсонович. – Кстати, правда, что тебе заказали статью из газеты, где ты работал?

– Правда, – сказали.

– Если у тебя нет настроения, я могу им написать, – оживился он.

– Конечно, пишите, – сказал я.

– Сегодня же вечером напишу. – Он окончательно стряхнул с себя уныние и снова кивнул в сторону редакторского кабинета: – Козлотуризация... Одни бросаются словами, другие дело делают.

* * *

Когда я проходил по нашей главной улице, со мной случилась жуткая вещь. На той стороне тротуара возле витрины универсального магазина стоял человек, одетый в новенький костюм и в шляпе. Он смотрел в витрину, в которой стояло несколько манекенов, точно так же одетых, как и он. Увидев его, я подумал: до чего они похожи друг на друга, то есть он и манекены. Не успел я додумать эту мыслишку, как один из манекенов, стоявших в витрине, зашевелился. Я как-то

похолодел, но у меня хватило здравого смысла сказать себе, что это бред, что манекен не может шевелиться, до этого еще не додумались.

Только я так подумал, как манекен, который до этого зашевелился, теперь в какой-то злобной насмешке над моим здравым смыслом спокойно повернулся и стал выходить из витрины. Не успел я очнуться, как через мгновение зашевелились и остальные манекены, именно зашевелились сначала и только потом двинулись вслед за первым. И только когда все они вышли на улицу, я понял: этот разговор манекенов – просто какая-то ошибка зрения, помноженная на усталость, волнение и еще что-то. То, что я принял за витрину универсального магазина, было стеклянной перегородкой, и люди, которых я принял за манекенов, просто стояли по ту сторону стеклянной стены.

Надодохнуть свежим воздухом, иначе так с ума сойдешь, подумал я и поскорей повернул в сторону моря.

Я с детства ненавижу манекены. Я до сих пор не пойму, как эту дикость можно разрешить. Манекен – это совсем не то, что чучело. Чучело человечно. Это игра, которая может некоторое время пугать детей или более долгое время птиц, потому что они еще более дети. На манекен я не могу смотреть без ненависти и отвращения. Это наглое, это подлое, это циничное сходство с человеком. Вы думаете, он, манекен, демонстрирует вам костюм новейшего покроя? Черта с два! Он хочет доказать, что можно быть человеком и без души. Он призывает нас брать с него пример. И в том, что он всегда представляет новейшую моду, есть дьявольский намек на то, что он из будущего.

Но мы не принимаем его завтрашний день, потому что мы хотим свой, человеческий завтрашний день.

Когда я гляжу в глаза собаки, я нахожу в них сходство с человеческим взглядом, и я уважаю это сходство. Я вижу миллионы лет, которые нас разделяют, и вижу, что, несмотря на миллионы лет, которые нас разделяют, ее душа уже оплодотворена человечностью, чувствует ее, как след, и идет за ней.

Собака талантлива. Меня трогает ее стремление к человеческому, и рука моя бессознательно тянется погладить ее, она рождает во мне отзывчивость. Значит, она не только стремится к человеческому, но и во мне усиливает человеческое. Наверное, в этом и заключается человеческая сущность – в духовной отзывчивости, которая порождает в людях ответную отзывчивость. Радостный визг собаки при виде человека – это проявление ее духовности.

Я удивляюсь способностям попугая, его голосовых связок и механической памяти, но до собаки попугая далеко. Попугай – это любопытно. Собака – это прекрасно.

Мы часто удовлетворяемся, обозначая сущность приблизительным словом. Но даже если мы ее точно обозначим – сущность меняется, а ее обозначение, слово, еще долго остается, сохраняя форму сущности, как пустой стручок сохраняет выпуклости давно выпавших горошин. Любая из этих ошибок, а чаще всего двойная, в конце концов приводит к путанице понятий. Путаница в понятиях в конечном итоге отражает наше равнодушие, или недостаточную

заинтересованность, или недостаточную любовь к сущности понятия, ибо любовь – это высшая форма заинтересованности.

И за это приходится рано или поздно расплачиваться. И только тогда, щупая синяки, мы начинаем подбирать к сущности точное обозначение. А до этого мы путаем попугая с пророком, потому что мало или недостаточно задумывались над тем, в чем заключается величие человека. Мало задумывались, потому что мало уважали себя, и своих товарищей, и свою жизнь.

* * *

Дня через три в обеденный перерыв я сидел в той же кофейне. Вошел Вахтанг Бочуа – в белоснежном костюме, сияющий апофеоз белых и розовых тонов. Он был в обществе старого человека и женщины, одетой с элегантной неряшливостью гадалки. Увидев меня, Вахтанг остановился.

– Ну как лекция? – спросил я.

– Колхозники рыдали, – ответил Вахтанг, улыбаясь, – а с тебя бутылка шампанского.

– За что? – спросил я.

– Разве ты не знаешь? – удивился Вахт'нг. – Я же тебя спас из-под колеса истории. Автандил Автандилович хотел с тобой расстаться, но я ему сказал: только через мой труп.

– А он что? – спросил я.

– Понял, что даже колесо истории увязнет здесь. – Вахтанг любовно похлопал по своему мощному животу. – Экзекуция отменена.

Он стоял передо мной розовый, дородный, улыбающийся, неуязвимый, как бы сам удивленный беспредельностью своих возможностей и одновременно обдумывающий, чем бы меня еще удивить.

– А ты знаешь, кто это такие? – Он слегка кивнул в сторону своих спутников. Спутники уже заняли столик и оттуда любовно поглядывали на Вахтанга.

– Нет, – сказал я.

– Мой друг, профессор (он назвал его фамилию), известнейший в мире минералог, и его любимая ученица. Между прочим, подарил мне коллекцию кавказских минералов.

– За что? – спросил я.

– Сам не знает. – Вахтанг радостно развел руками. – Просто полюбил меня. Я его вожу по разным историческим местам.

– Вахта-а-анг, мы скучаем, – капризно протянула любимая ученица.

Сам профессор, ласково улыбаясь, смотрел в нашу сторону. Из-под столика

высовывались его длинные ноги, прикрытые полотняными брюками и лениво вдетые в сандалии. Такие ноги бывают у долговязых рассеянных подростков.

– И это еще не все, – сказал Вахтанг, продолжая улыбаться и пожимая плечами в том смысле, что чудачествам в этом мире нет предела, – завещал мне свою библиотеку.

– Смотри не отрави его, – сказал я.

– Что ты, – улыбнулся Вахтанг, – я его, как родного отца...

– Приветствую нашу замечательную молодежь. – Откуда-то появился Соломон Маркович. Он стоял маленький, морщинистый, навек заспиртованный, во всяком случае изнутри, в своей тихой, но упорной скорби.

– Уважаемый Вахтанг, – обратился Соломон Маркович к нему, – я старый человек, мне не нужно ста грамм, мне нужно только пятьдесят.

– И вы их получите, – сказал Вахтанг и, вельможно взяв его под руку, направился к своему столику.

– Еще одна местная археологическая достопримечательность, – представил его Вахтанг своим друзьям и пододвинул стул. – Прошу любить: мудрый Соломон Маркович.

Соломон Маркович сел. Он держался спокойно и с достоинством.

– Я вчера прочел одну книжку, называется «Библия», – начал он. Он всегда так начинал. Я подумал, что он опять, согласно моей теории, из большой неудачи своей жизни извлекает маленькие удачи ежедневных выпивок.

С месяц я спокойно работал в отделе культуры. Шум кампании не смолкал, но теперь он мне не мешал. Я к нему привык, как привыкаешь к шуму прибора. Областное совещание по козлотуризации колхозов нашей республики прошло на высоком уровне. Хотя и раздавались некоторые критические голоса, но они потонули в общем победном хоре.

В конкурсе на лучшее произведение о козлотуре победил бухгалтер Лыхнинского колхоза. Он написал песню о козлотуре. Вот ее текст:

Жил гордый тур в горах Кавказа,
По нем турицы сохли все,
Но он мечтал о желтоглазой,
О милой маленькой козе.

Но отвергали злые люди,
Пролить пытаясь его кровь,
Его альпийскую, по сути,

Высокогорную любовь.

Тур уходил за перевалы,
Колючки жесткие грызя,
Его теснили феодалы,
Мелкопоместные князья.

Паленой шерстью дело пахло,
А также пахло шашлыком...
А козочка в долине чахла
В разлуке с гордым женихом.

И только в наши дни впервые
Нашелся добрый чародей.
Что снял преграды видовые
Рукой мичуринской своей.

И с туром козочка любовно
Сплела рога под звон чонгур,
От этой ласки безусловно
Родился первый козлотур.

В нем навсегда, как говорится,
Соединились две черты:
Прыгучесть славного альпийца
И домовитый нрав козы.

Назло любому самодуру

Теперь мы славим на века
 Не только мясо козлотура,
 Но и прекрасные рога.

Чтобы понять ядовитый смысл последней строфы, надо знать предысторию всего стихотворения. В основу ее был положен реальный случай.

В одном колхозе козлотур чуть не забодал маленького сына председателя, который, как потом выяснилось (я имею в виду, конечно, сына), часто дразнил и даже, как утверждал Платон Самсонович, издевался над беззащитным животным, пользуясь служебным положением своего отца.

Ребенок сильно испугался, но, как выяснилось, никаких серьезных увечий козлотур ему не нанес. Тем не менее председатель под влиянием своей разъяренной жены приказал местному кузнецу спилить рога козлотуру. Об этом написал секретарь сельсовета. Платон Самсонович пришел в неистовство. Он поехал в колхоз, чтобы лично убедиться во всем. Все оказалось правдой. Платон Самсонович даже привез один рог козлотура. Другой рог, как смущенно сообщил ему председатель колхоза, утащила собака. Все работники редакции приходили смотреть рог козлотура, даже невозмутимый метранпаж специально пришел из типографии посмотреть на рог. Платон Самсонович охотно показывал его, обращая внимание на следы варварской пилы кузнеца. Рог был тяжелый и коричневый, как бивень допотопного носорога. Заведующий отделом информации, он же председатель месткома, предложил отдать мастеру отделать его, чтобы потом ввести в употребление для коллективных редакционных пикников.

– Литра три войдет свободно, – сказал он, рассматривая его со всех сторон.

Платон Самсонович с негодованием отверг это предложение.

По этому поводу он написал фельетон под названием «Козлотур и самодур», где сурово и беспощадно карал председателя. Он даже предлагал поместить в газете снимок обесчещенного животного, но Автандил Автандилович после некоторых раздумий решил ограничиться фельетоном.

– Это могут не так понять, – сказал он по поводу снимка. Кто именно может не так понять, он не стал объяснять.

Вот почему, когда на конкурс пришло стихотворение лыхнинского бухгалтера под тем же названием, Платон Самсонович стал за него горой как самый влиятельный член жюри и его единственный технический эксперт. Редактор не имел ничего против, он только заметил, что надо немного изменить две последние строчки так, чтобы автор славил не только мясо и рога, но и шерсть козлотура.

– Еще неизвестно, что важнее, – сказал он и неожиданно сам исправил последние строчки. Теперь стихотворение кончалось так:

Назло любому самодуру

Я буду славить на века
И шерсть и мясо козлотура,
А также пышные рога.

– Может, пышные не совсем точно? – сказал я.

– Пышные, то есть красивые, очень даже точно, – твердо возразил Автандил Автандилович.

В нем проснулось извечное упорство поэта, отстаивающего оригинал. Автор был доволен. Вскоре на это стихотворение была написана музыка, и притом довольно удачная. Во всяком случае, ее неоднократно исполняли по радио и со сцены. Со сцены ее исполнял хор самодеятельности табачной фабрики под руководством ныне реабилитированного, известного в тридцатых годах исполнителя кавказских танцев Пата Патарая.

Рог так и остался в кабинете Платона Самсоновича. Он возлежал на кипе старых подшивок как напоминание о бдительности.

* * *

Основное время в отделе культуры у меня уходило на обработку читательских писем – обычно жалобы на плохую работу сельских клубов – и стихи – творчество трудящихся.

После окончания конкурса на лучшее произведение о козлотуре стихи на эту тему посыпались с удвоенной силой. Причем многие из них были помечены грифом: «К следующему конкурсу», хотя редакция нигде не объявляла, что будет еще один конкурс.

Интересно, что многие авторы, в основном пенсионеры, в сопроводительном письме упоминали, что государство их хорошо обеспечило и они не нуждаются в гонораре, и если какой-нибудь молодой сотрудник редакции кое-что подправит в их стихах для напечатания, то его скромный труд не останется без вознаграждения, ибо всякий труд и т. д. Сначала меня возмущало, почему именно молодой сотрудник, но потом я к этому привык и не обращал внимания.

Первое время я вежливо намекал авторам, что сочинительство требует некоторых природных способностей и даже грамотности. Но однажды Автандил Автандилович вызвал меня и, подчеркнув красным карандашом наиболее откровенные строчки моего ответа, посоветовал быть доброжелательней.

– Нельзя говорить, что у человека нет таланта. Мы обязаны воспитывать таланты, тем более когда речь идет о творчестве трудящихся, – заметил он.

К этому времени я окончательно уяснил слабость Автандила Автандиловича. Этот мощный человек цепенел, как кролик, под гипнозом формулы. Если он

выдвигал какую-нибудь формулу, переспорить его было невозможно. Зато можно было перезарядить его другой формулой, более свежей. Когда он заговорил насчет творчества трудящихся и воспитания талантов, мне пришла в голову формула относительно заигрывания с массами, но я ее не решился высказать. Все-таки сюда она не слишком подходила.

Вот почему, сжав зубы, я отвечал на письма стихотворцев, злорадно советуя им учиться у классиков, в особенности у Маяковского.

Несколько раз за это время я выезжал в командировки и, когда готовил материал к печати, уже заранее знал те места, которые редактору не понравятся и будут обязательно вычеркнуты.

Для мест, подлежащих уничтожению, я делал единственное, что мог: старался их писать как можно лучше.

* * *

Одним словом, все шло нормально, но тут случилось событие, которое в какой-то мере повлияло на мою жизнь, хотя и не имело отношения к теме моего повествования, то есть к козлотурам.

В тот вечер мы сидели с ребятами на приморском парапете и поглядывали на улицу, по которой все время двигались навстречу друг другу два потока. Толпа нарядных, возбужденных своим процеживающим движением людей.

Белоснежная рубашка, черные брюки, узконосые туфли, пачка «Казбека», заложённая за пояс на манер ковбойского пистолета, – летняя боевая форма южного щеголя.

Вечер не предвещал ничего особенного. Да мы ничего особенного и не ожидали. Просто отдыхали, сидя на парапете, лениво поглядывая на гуляющих, и говорили о том, о чем говорят все мужчины в таких случаях. А говорят они в таких случаях всякую ерунду.

Тогда-то она и появилась. Девушка была в обществе двух пожилых женщин. Они прошли по тротуару мимо нас. Я успел заметить нежный профиль и пышные золотистые волосы. Это была очень приятная девушка, только талия ее мне показалась слишком узкой. Что-то старинное, от корсетных времен.

Она покорно и прилично слушала то, что говорила одна из женщин. Но я не очень поверил в эту покорность. Мне подумалось, что девушка с такими пухлыми губами может быть и не такой уж покорной.

Я следил за ней, пока она со своими спутницами не скрылась из глаз. Слава богу, ребята ничего не заметили. Они держали под прицелом улицу, а девушка как бы прошла над ними. Я посидел еще немного и почувствовал, что разговоры товарищей как-то до меня не доходят. Я уже нырнул куда-то и слышал их через толщу воды.

Девушка не выходила у меня из головы. Мне захотелось ее снова увидеть. Не то чтобы я боялся, что ее увлекут щеголи в белых рубашках, с томной походкой. Нет, я был уверен, что их дурацкие патронташи с полупустыми гильзами казбечин не представляют для нее опасности. Слишком мелкая дробь. К тому же я понимал: вынуть ее из такой плотной шершавой обертки, как две пожилые женщины, задача дай бог.

Как бы там ни было, я распрощался с ребятами и ушел. Найти ее в такой толчее казалось невероятным. Но она мне уже мерещилась. Чуть-чуть, но все-таки. А раз человек мерещится, можно быть спокойным – сам найдется. Раз так, подумал я, значит, я излечился от старой болезни. Майор оказался неплохим врачом. Я почувствовал в себе вернейший признак выздоровления, желание снова заболеть. Я стал ее искать.

Я знал, что ее увижу, а что дальше будет – понятия не имел. Просто надо было убедиться – в самом деле она мерещится или только показалось?

И вот я вижу – она стоит на маленьком причале для местных катеров. Наклонилась над барьером и смотрит в воду. На ней какая-то детская рубашонка и широченная юбка на недоразвитой талии. Про таких девушек у нас говорят: ножницами можно перерезать.

Рядом с девушкой на скамейке сидели обе женщины, с которыми она так покорно проходила по набережной.

Надо сказать, что о наших краях болтают всякую чепуху. Вроде того, что девушек воруют, увозят в горы и тому подобную чушь. В основном все это бред, но многие верят.

Во всяком случае, спутницы девушки сейчас сидели от нее так близко, что в случае неожиданного умыкания могли бы, не вставая со скамейки, удержать ее хотя бы за юбку. Юбка эта сейчас плескалась вокруг ее ног широко и свободно, как флаг независимой, хотя и вполне миролюбивой державы.

Раздумывая, как быть дальше, я прошел до конца причала и, возвращаясь, решил во что бы то ни стало остановиться возле нее. Я решил использовать единственную ошибку, допущенную охраной, – фланг, обращенный к морю, был открыт.

Море было на моей стороне. И вот я подхожу, а легкий ветерок дует мне в спину, как дружеская рука, подталкивающая на преступление. Неожиданно порыв так раздул ее юбку, что мне показалось – она вот-вот взлетит, прежде чем я успею подойти. Я даже немного ускорил шаги. Но девушка, не глядя на юбку, прихлопнула ее рукой. Так прикрывают окно, чтобы устранить сквознячок. А может быть, так гасят парашют. Хотя я сам с парашютом не прыгал и, разумеется, не собираюсь, но почему-то образ парашюта, особенно нераскрывающегося, меня преследует...

Но как к ней все-таки подойти? И вдруг меня осенило. Надо притвориться приезжим. Обычно они друг другу почему-то больше доверяют. То, что она не из наших краев, было видно сразу.

И вот я подошел и стал рядом с ней. Стою себе солидно и скромно. Вроде человек гулял, а потом решил: дай я посмотрю на это Черное море, с чего оно плещется тут без всякой пользы для отдыхающих. Чтобы не было никаких подозрений, я даже не смотрел в ее сторону.

Внизу, прямо под нами, у железной лесенки, болталась шляпка с рыбацкого баркаса. Сам баркас стоял на рейде. На эту шляпку она и смотрела. Теперь-то можно сказать, что она смотрела прямо в глаза судьбе. Но тогда я этого не понимал. Я только заметил, что она как-то задумчиво смотрела на нее. Может быть, она решила удрать на этой шляпке от своих спутниц. Я бы с удовольствием помог ей, хотя бы в качестве гребца.

Я стоял рядом с ней, медленно чугуня и чувствуя: чем дальше буду молчать, тем труднее мне будет заговорить.

– Интересно, что это за лодка? – наконец пробубнил я, обращаясь к ней, но не прямо, а так под углом в сорок пять градусов.

Более глупый вопрос трудно было придумать. Девушка слегка пожала плечами.

– Странно, – сказал я, продолжая гнуть ту же дурацкую линию, как будто увидеть шляпку у причала бог весть какое чудо. – Ведь говорят, здесь граница близко, – нервно проговорил я, мысленно колотя себя головой о поручни.

– А что, может, контрабандисты? – обрадовалась она.

– У нас в санатории рассказывали, – начал я бодро, еще сам не зная о чем.

Как раз в это время, грохоча сапогами, по железной лесенке спустились два человека. Первый нес большую плетеную корзину, прикрытую полотенцем, у второго за плечами лежал мешок.

Я замолк и приложил палец к губам.

– Как интересно, – прошептала девушка. – Что они будут делать?

Я слегка покачал головой, давая знать, что ничего хорошего от них ожидать не следует. Девушка закусил губу и еще ниже наклонилась над поручнями.

Тот, что шел с корзиной, вскочил на пляшущую лодку и, пробежав по банкам, уселся на корму, поставив корзину между ног. Не успел я опомниться, как он поднял свое румяное до черноты лицо и, улыбаясь, кивнул мне. Это был один из тех рыбаков, с которыми я когда-то выходил в море. Звали его Спиро.

– Приветствую работников печати! – закричал он, сверкнув зубами.

Я почувствовал, что неудержимо краснею, и незаметно кивнул ему головой. Но ему дай только рот раскрыть.

– Закусываете рыбкой, а пишете про козлотуров, – крикнул он и добавил, оглядев меня и девушку: – Интересное начинание, между прочим...

– Как дела? – вяло спросил я, понимая, что маскироваться дальше было бы еще глупей.

– Видишь, везу премиальные.

Он сдернул с корзины полотенце. В ней стояли винные бутылки.

– План перевыполняем, но золотая рыбка пока еще не попалась, – добавил он, глядя на девушку своими прозрачными, бесстыжими глазами. – Калон карица (хорошая девушка)! – вдруг закричал он, откидываясь и хохоча. Видно было, что, прежде чем купить вино, он основательно его отдегустировал. – Девушка, пусть он вам споет песню козлотура, – вдруг вспомнил он и снова завелся: – Он хорошо поет песню про козлотура, они все там поют песню про козлотура, они чокнулись на этой песне...

Наконец товарищ его оттолкнулся и сел на весла. Спиро еще долго дурачился, делая вид, что хочет утопиться на глазах у некоторых глупых людей, не понимающих, с каким сокровищем рядом они стоят.

– Подписчики волнуются! – закричал он издали, и лодка растворилась в колеблющейся темноте моря.

Все это время девушка держалась хорошо. Она дружелюбно улыбалась, и я постепенно успокоился.

– Что это за козлотуры? – спросила она, как только мы остались одни.

– Да так, новое животное, – сказал я небрежно.

– Странно, почему же я о нем не слыхала?

– Скоро услышите, – сказал я.

– И вы поете песню о новом животном?

– Скорее подпеваю.

– А в Москве ее уже поют?

– Кажется, еще нет, – сказал я.

– Нам пора, – неожиданно раздалось за спиной.

Мы обернулись. Обе женщины стояли перед нами, откровенно враждебно оглядывая меня. Девушка мягко отошла к ним.

– Мы целыми днями на пляже, – сказала она, как бы договаривая фразу, и взяла под руку своих спутниц.

Я очень вежливо попрощался со всеми и отошел. Я пересек приморскую улицу и отправился домой малолюдным переулком, чтобы не встречаться с друзьями и не расплескать того хорошего, что осталось от встречи с этой девушкой. По дороге домой я с удовольствием обдумывал ее последние слова. Мне ничего не мешало истолковать их как намек на встречу.

Весь следующий день в редакции меня рапирала радость предстоящего свидания. Чтобы погасить неприличные излишки этой радости, чтобы не слишком оттопыривались от нее карманы, я решил все свое рабочее время посвятить читательским письмам.

Ровно в пять часов я запер дверь нашего отдела, сел в потный, битком набитый автобус и поехал на пляж.

И вот я на пляже. Из репродуктора лилась обволакивающая, тихая музыка. Она помогала раздеваться. Она была как плавный переход от земли к морю.

Немного волнуясь, я стал обходить пляж, заглядывая под тенты и зонты. Разноцветные купальные костюмы, загары всех оттенков, ярмарка летнего здоровья, древнегреческие позы лени и благодушия.

Я вдруг почувствовал, что не спешу ее увидеть. Поиски ее давали право быть внимательным ко всем.

Мне показалось, что я не слишком связан вчерашними впечатлениями. Карнавал пляжных красок ослаблял его. Я знал, что слишком сильное чувство мешает самому себе, и был рад, что этого сейчас как будто нет.

У меня была глуповатая привычка при первом же удобном случае обрушивать на понравившуюся девушку лавину своих самых высоких чувств. Обычно это пугало их или даже оскорбляло. Возможно, им казалось, что раз человек так волнуется, значит, они сами недооценивали своих чар, не заметили, так сказать, золотосной жилы на своем участке и надо его первым делом переоценить, тщательно огордить, во всяком случае не допускать первооткрывателя.

Так или иначе, как только я обрушивал на них эту дурацкую лавину, я немедленно переводился в запасные игроки. В конце концов мне это надоело, а потом нравилась какая-нибудь другая девушка, и хоть я понимал, что надо быть посдержанней, лавина как-то сама по себе обрушивалась, и девушка каждый раз выскакивала из-под нее, в лучшем случае для меня слегка помяв прическу.

Думая об этом и радуясь своему спокойствию, я обошел пляж, но нигде ее не заметил. Настроение начинало портиться. Я прошел вдоль кромки прибоя, вглядываясь в тех, кто купался. Но и здесь ее не было.

Я почувствовал, как все вокруг потускнело почти на глазах. Я медленно разделся. Раз уж пришел на пляж – надо купаться. Возле меня остановился фотограф в коротких белых штанах, с мощными бронзовыми ногами пилигрима. Он снимал женщину, вытягивавшую голову из пены прибоя.

– Еще один снимок, мадам.

Отходящая волна обнажила тело пенорожденной и руки, крепко упершиеся в песок растопыренными ладонями.

– Фотографирую...

Он так тщательно, с видом старого петербуржца, програссировал, что компания молодых туристов, расположившаяся рядом, дружно засмеялась.

Пилигрим снова навел свой фотоаппарат, а компания приготовилась смеяться. Женщина попыталась изобразить блаженство, но выражение тусклой озабоченности не сходило с ее лица. Пена прибоя вокруг нее казалась будничной, как мыльная.

– Снимаю, – неожиданно сказал фотограф и посмотрел на ребят.

Но они все равно засмеялись. Фотограф сам теперь улыбался. Он улыбался долгой, выжженной солнцем улыбкой. Улыбка его означала, что он понимает,

какие эти ребята еще глупые и молодые, и что в жизни вообще много не менее смешного, чем его профессия, только надо иметь терпение пожить, чтобы понять кое-что.

Я выкупался, но море меня не освежило. Я только почувствовал голод и раздражение. Я вспомнил, что забыл пообедать, что вообще-то со мной редко случалось.

Пляж начинал меня злить. Все эти дряблые преферансисты с тонкими, подагрическими ногами, спортсмены, туго набитые никому не нужными мышцами, местные сердцееды с выражением дурацкой, ничем не оправданной горделивости на лице, и женщины, нагло выставившие якобы на солнце свои якобы бесспорные прелести.

Я быстро оделся и вышел. Доехал до города и пошел домой – голодный, усталый, злой. Только хотел открыть дверь, как обнаружил, что потерял ключ. Перерыл все карманы, но ключа нигде не было. Я понял, что попал в полосу невезения. У меня всегда так. Или все идет хорошо, или все валится из рук. Видимо, ключ у меня выпал из кармана, когда я одевался на пляже. Скорее всего я так решил потому, что это было единственное место, где его можно было хотя бы поискать.

Проклиная все на свете, я дошел до автобусной остановки и снова поехал на пляж. Теперь в автобусе людей было гораздо меньше. В такое время на пляж уже почти никто не ездит.

На одной из остановок шофер сошел с автобуса и минут через пять возвратился с целым кульком горячих пирожков, просвечивающих через промасленный кулек. Пожеывая пирожки, он не спеша проехал две остановки и снова вышел из автобуса. Напротив остановки был пивной ларек. Теперь он свои пирожки запивал пивом. Пассажиры покорно ворчали. Рядом с пивным ларьком высилось дощатое здание – филиал народного суда. Я испугался, как бы он туда не вошел послушать какое-нибудь дело. Я думаю, у него хватило бы нахальства войти туда, не выпуская из рук пивной кружки. Но пока он спокойно пил пиво.

Я сидел напротив дверей, машинально скатывая на пальцах свой билетик. Наконец, когда терпение дошло до предела, я его выщелкнул в дверь. В ту же секунду с передней площадки вошел контролер и стал проверять билеты. Мне надо было выйти из машины и найти свой билет, но сделать это теперь было неудобно – люди могли подумать, что я удираю.

Когда контролер подошел ко мне, я стал объяснять, как потерял билет, сам чувствуя глупость своего объяснения. По лицу контролера было видно, что он озабочен только одной мыслью: как бы я не подумал, что он мне верит.

Тогда я вышел из автобуса и стал искать билет под поощрительный хохоток ближайших пассажиров. Билет не находился. Я взял себя в руки и попытался осмыслить возможную траекторию его полета. Но там, где он должен был упасть, ничего не было. Наверное, его снесло ветром. Контролер стоял у входа, и взгляд его печально-умудренный (терпеть не могу этот печально-умудренный взгляд) выражал, что нельзя найти того, чего не терял.

Наконец пассажиры, видимо решив, что я свое отработал, дружно вступились за меня и стали уверять, что видели, как я бросил билет. Перед общественным мнением контролеру пришлось отступить, и он вышел из машины, сделав мне небольшое внушение.

Наконец шофер допил свое пиво, и, когда он хлопнул дверцей и бодро включил мотор, все почувствовали к нему прилив благодарности, которого, конечно, не было бы, если б он ехал, как положено.

Я утешал себя мыслью, что раз попал в полосу невезения – ничего не поделаешь. Главное – проскочить эту полосу с наименьшими потерями.

И вот я выхожу из автобуса, подхожу к пляжной кассе и обнаруживаю, что у меня нет десяти копеек. Всего семь копеек. Еще утром забыл захватить деньги из дому.

Мне всегда не нравилось, что за вход на пляж нужно платить, как будто море соорудил наш местный муниципалитет.

– Проходите, вы же выходили, – сказала билетерша, заметив, что я мнусь у кассы.

Я посмотрел на нее. Доброе, улыбающееся лицо пожилой женщины. Удивительно, что она меня запомнила.

Я прошел на пляж. Эта небольшая удача так меня взбодрила, что я почувствовал, как во мне заработала какая-то энергия. Может быть, мотор удачи. И хотя я до этого почти не надеялся, что найду свой ключ: ведь даже если я его потерял на пляже, тут проходят сотни людей, – теперь я был уверен – найду.

Я его не только нашел – я его издали заметил. Да, маленький, почти чемоданный ключик лежал, поблескивая, на песке, на том самом месте, где я раздевался. Никто его не заметил, не подобрал или просто не втоптал в песок. Я поднял ключ, и, когда, разогнувшись, посмотрел на море, неожиданное, непередаваемое ощущение захлестнуло меня. Я увидел теплую синеву моря, озаренного заходящим солнцем, смеющееся лицо девушки, которая, оглядываясь, входила в воду, парня на спасательной лодке с сильными загорелыми руками, отдыхающими на веслах, берег, усеянный людьми, и все это было так мягко и четко освещено и столько было вокруг доброты и покоя, что я замер от счастья.

Это было не то счастье, которое мы осознаем, вспоминая, а другое, высшее, наиредчайшее, когда мы чувствуем, что оно сейчас струится в крови, и мы ощущаем самый вкус его, хотя передать или объяснить это почти невозможно.

Казалось, люди пришли к своему морю, и прийти к нему было трудно, и шли они к нему издали, с незапамятных времен, всю жизнь, и теперь хорошо морю со своими людьми и людям со своим морем.

Странное чудное состояние длилось несколько минут, а потом оно постепенно прошло, вернее, острота прошла, но остался привкус того, что оно было, как остается легкое головокружение после первой утренней затяжки.

Я не знаю, откуда оно берется, но такое состояние я переживал много раз, хотя если вспомнить всю жизнь, то бывало оно не так уж часто. Чаще всего оно

приходит в одиночестве, где-нибудь в горах, в лесу или на море. Может быть, это предчувствие жизни, которая могла быть или будет? Думая обо всем этом, я сел в автобус и приехал домой, кстати говоря, забыв взять билет.

Вечером я шатался по городу, надеясь случайно встретить ее где-нибудь. Мне очень хотелось увидеть ее, хотя я и начинал страшиться этой встречи. Несколько раз я замечал, что во мне что-то неприятно обрывается, как в самолете, когда он попадает в воздушную яму, но потом оказывалось, что это не она, что я ошибся.

...Я вышел на причал для местных катеров и увидел ее. Искать ее здесь мне почему-то не приходило в голову. Она стояла почти на том же месте. Как только я увидел ее, мне захотелось удрать, но я взял себя в руки и не сделал этого.

Я шел по хорошо освещенному причалу, но она меня не заметила. Было похоже, что она о чем-то задумалась, но потом мне показалось, что она просто не хочет меня узнавать. Я поравнялся с ней и уже было повернул назад, но наши взгляды встретились, и она улыбнулась. Верней, лицо ее озарилось вспышкой радости.

Эта улыбка, словно порыв ветра, сдунула с меня усталость и напряжение этого дня.

Люди не так часто нам радуются, во всяком случае не так часто, как нам хотелось бы. А если и случается, что радуются при виде нас, все же чаще скрывают свою радость, чтобы не показаться сентиментальными или чтобы не обидеть других, при виде которых они не могут радоваться. Так что иногда и не поймешь, рад тебе человек или не рад...

...Подошел прогулочный катер, и мы, словно сговорившись, вошли в него. Не помню, о чем мы говорили. Мы стояли, облокотившись о поручни, и смотрели в море. Как тогда над барьером причала. Но теперь, казалось, этот причал отделился от берега и мчался в открытое море. Я смотрел на ее лицо, и нежность его странно проступала сквозь крепкий грубоватый загар.

Потом ей захотелось пить, и мы прошли на корму в буфет по узкому и темному проходу.

Лимонад оказался холодным и тугим, как шампанское. Я вспомнил, что давно не пил лимонада, и подумал, что никогда шампанское не бывало таким вкусным, как этот лимонад.

Позже, когда мне приходилось пить шампанское и оно мне казалось безвкусным, как выдохшийся лимонад, я вспоминал этот вечер и думал о великой и в то же время немного скупердяйской мудрости природы, стремящейся к равновесию, ибо за все надо платить по цене. И если ты пьешь лимонад, который тебе кажется шампанским, значит, рано или поздно ты будешь пить шампанское, похожее на лимонад.

Такова грустная, но, по-видимому, необходимая логика жизни. И то, что она необходима, пожалуй, грустней, чем сама грустная логика жизни.

Говорят, капля камень точит. Тем более Платон Самсонович. И уже в сельхозуправлении согласились выделить средства на приобретение таджикских

коз, и уже Платон Самсонович, не дожидаясь официального хода событий, написал таджикским товарищам об этом, и уже они ответили, что слышали о нашем интересном начинании и сами собираются приобрести козлотуров, и уже они договорились обменяться животными и произвести опыты одновременно, и уже Платон Самсонович уехал к селекционеру, чтобы уговорить его принять партию таджикских шерстяных коз, но тут грянул гром. И грянул он именно в тот день, когда Платон Самсонович должен был возвратиться.

В этот день в одной из центральных газет появилась статья, высмеивающая необоснованные нововведения в сельском хозяйстве. Особенно досталось нам за бездумную проповедь козлотура, как писал автор. Кстати, в этой же статье делался смутный намек на то, что опыты знаменитого московского ученого навряд ли можно назвать вполне удачными, во всяком случае гениальность их ставилась под сомнение.

О статье мы узнали утром, хотя газету никто не видел. К нам центральные газеты приходят к вечеру или на следующий день. Но такие вещи узнаются очень быстро.

Автандил Автандилович был взволнован, как никогда. Он несколько раз в этот день ходил в обком партии, потом позвонил в райком того района, куда уехал Платон Самсонович. Оттуда ему ответили, что Платон Самсонович уже выехал с рейсовой машиной в город. Машина должна была подойти к трем часам. На это время редактор назначил общее собрание работников редакции.

В три часа мы собрались в кабинете редактора. Рейсовый автобус останавливался напротив редакции, поэтому сотрудники старались занять места у окон. Почему-то всем было интересно посмотреть, как он будет выходить из автобуса.

Все испытывали почти радостное нервное возбуждение. По-настоящему за козлотура болел только Платон Самсонович, и все понимали, что основной удар придется по нему. Поэтому остальные сотрудники чувствовали себя так, как чувствует себя человек, когда ждет большой грозы, находясь под надежным укрытием. Сладостное ощущение уюта, собственной безопасности.

Автандил Автандилович сидел, отрешенный от всех, глядя куда-то вперед, в пространство. Перед ним лежал машинописный текст статьи, кажется, полученный им по телетайпу.

Он впервые забыл выключить вентилятор, и страницы грозной статьи под струей воздуха, казалось, вздрагивали и закипали от нетерпения.

Фельетонист два раза заходил за спину редактора – якобы для того, чтобы посмотреть на карту нашей республики, висевшую над редакторским столом. И хотя на вскипающей поверхности бумаги навряд ли что-нибудь можно было прочесть, особенно из-за спины Автандила Автандиловича, и все это понимали, но все-таки гримасами спрашивали у фельетониста: мол, что там? В ответ он гримасой же отвечал, что, мол, такого разгрома еще не бывало.

Автандил Автандилович, не глядя, кивком головы водворил его на место.

Наконец машина подъехала, и все столпились у окон посмотреть, как он будет выходить. Почему-то нам показалось, что он первый выйдет из машины, но из дверцы неожиданно выскочила охотничья собака, а за ней появился и сам охотник. На поясе у него густо струились перепелки. Он шел от машины с тяжелой бодростью в походке, шел, как бы отягощенный удачей. Я почувствовал тоскливую зависть к нему и даже к его собаке.

Пожилая крестьянка с корзиной, наполненной грецкими орехами, вышла из машины и тут же стала переходить улицу в неположенном месте. Постовой свистнул, и она побежала, рассыпая орехи. Все-таки побежала в ту сторону, куда она собиралась переходить.

Платон Самсонович вышел из машины одним из последних. Секунду он постоял возле машины, придерживая одной рукой пиджак, устало переброшенный через плечо, и вдруг пошел в противоположную от редакции сторону.

- Он уходит, – очнулся кто-то первый.
- Как уходит? – грозно переспросил Автандил Автандилович.
- Я его верну! – крикнул фельетонист и ринулся к дверям.
- Только ничего не говорите! – бросил ему вслед редактор.

Мы стояли у окон и следили за Платоном Самсоновичем. Он медленно перешел улицу, все так же держа свой пиджачок, переброшенный за спину. Перейдя улицу, он неожиданно подошел к киоску с газированной водой.

- Воду пьет, – удивился кто-то, и все рассмеялись.

Фельетонист выскочил на улицу, подошел к перекрестку и бдительно стал глядеть по сторонам, заслоняясь ладонью от солнца. Он не замечал Платона Самсоновича, потому что к киоску подошел человек и заслонил его. Фельетонист, беспокойно озираясь, стоял несколько мгновений, а потом с панической быстротой перебежал улицу и отправился в сторону моря. Мы с интересом следили за ним, потому что сейчас он должен был пройти мимо киоска, но он так целенаправленно смотрел вперед, что не заметил Платона Самсоновича. Он прошел киоск, и снова все рассмеялись. Но тут он неожиданно оглянулся и развел руками, – видно, Платон Самсонович его окликнул сам.

Фельетонист что-то сказал и, махнув рукой в сторону редакции, быстро удалился. Чувствовалось, что он знал, что за ним наблюдают из окон, и старался показать, что соприкасается с Платоном Самсоновичем только по вынужденному поводу.

...Когда пассажиры разошлись, шофер рейсовой машины неожиданно выскочил на улицу и стал подбирать рассыпанные орехи. Подобрал все до одного, он влез в машину и уехал.

Наконец Платон Самсонович открыл дверь кабинета и вошел. Он кивком поздоровался со всеми и присел на стул. Вид у него был сумрачно-сосредоточенный. Мне кажется, уже по тому, как он сел на краешек стула, было видно, что он все знает. Впрочем, возможно, я это уже потом так

подумал.

– Ну как, договорились с селекционером? – спросил Автандил Автандилович безмятежным голосом.

Плотно сомкнутые губы Платона Самсоновича слегка задергались.

– Автандил Автандилович, – сказал он глухим голосом и, как-то не вполне разогнувшись, встал со стула. – Я все знаю...

– Интересно, кто вам сказал? – спросил тот и посмотрел на фельетониста.

Фельетонист ударил ладонью в грудь и застыл, как бы покоряясь судьбе.

– Утром по радио передавали, – сказал Платон Самсонович, продолжая стоять в той же позе, не вполне разогнувшись.

– И тут первый, – мрачно пошутил редактор, стараясь скрыть разочарование.

Автандил Автандилович несколько мгновений смотрел на Платона Самсоновича холодеющим взглядом, словно расстояние между ними увеличивалось и он его переставал узнавать. Мне показалось, что под этим взглядом Платон Самсонович еще больше согнулся.

– Садитесь, – сказал Автандил Автандилович тоном, каким говорят со случайным посетителем редакции.

И вот он прочел статью. Он ее прочел зычным, хорошо поставленным голосом. Он читал, постепенно загораюсь и иногда посматривая в сторону Платона Самсоновича.

Сначала казалось, что он, читая статью, нам всем и себе раскрывает допущенные нами ошибки и перегибы. Но пафос в его голосе все время нарастал, и вдруг стало казаться, что он лично вместе с другими товарищами обнаружил эту ошибку. К концу статьи он так слился с ее стилем, с внезапными переходами от гнева к иронии, что стало казаться – именно он, и притом без всяких товарищей, первым заметил и смело вскрыл все наши ошибки.

Началось обсуждение статьи. Тут надо сказать, что Автандил Автандилович держался самокритично. Он заявил, что, хотя и пытался приостановить бездумную проповедь козлотура, именно с этой целью он и печатал, хотя и под рубрикой «Посмеемся над маловерами», критические заметки зоотехника, но делал это недостаточно энергично и в этом смысле берет часть вины на себя.

Фельетонист, который все это время нетерпеливо ерзал, выступил сразу же после редактора и напомнил, что и он в фельетоне о неплательщике алиментов в замаскированной форме пытался критиковать бездумную проповедь козлотура, но Платон Самсонович не только не внял его голосу, но даже пытался пришить ему ярлык.

– Ярлык? – неожиданно выдавил Платон Самсонович и сумрачно посмотрел на фельетониста.

– Да, ярлык! – повторил тот решительно и посмотрел на Платона Самсоновича взглядом человека, навсегда разорвавшего цепи рабства.

– Вы преувеличиваете, – примирительно сказал Автандил Автандилович. Он не любил слишком широких обобщений, если эти обобщения делал не он сам.

В связи с бездумной проповедью козлотура Автандил Автандилович поднял вопрос о семейных делах Платона Самсоновича.

– Отрыв от хозяйственных нужд наших колхозов постепенно привел к отрыву от семьи, – подытожил он свое выступление, – и это закономерно, ибо человек потерял критерий истины и зазнался.

После того как критика Автандила Автандиловича была поддержана сотрудниками, он выступил еще раз и сказал, что все-таки нельзя сбрасывать со счетов то обстоятельство, что Платон Самсонович старый, опытный газетчик и, несмотря на ошибки, до последней капли крови предан нашему общему делу. Редактор и в этой части был поддержан сотрудниками. Кто-то даже сказал, что старый конь борозды не портит.

Но тут фельетонист опять не удержался и напомнил, что загибы вообще характеры для работы Платона Самсоновича. Он напомнил, что Платон Самсонович несколько лет назад пытался установить новый метод рыбной ловли, пропуская через воду токи высоких частот. В результате рыба якобы должна была собираться в одном месте, тогда как на самом деле она ушла из бухты и могла совсем не приходить, если бы опыты продолжались.

– Не в этом дело, вы не так поняли, – вставил было Платон Самсонович, но к этому времени все устали и никому неохота было выслушивать технологию старого опыта.

Заведующим отделом сельского хозяйства был назначен заведующий отделом пропаганды, как человек, имеющий наиболее острое чутье к новому. Платона Самсоновича оставили при нем литсотрудником, с тем чтобы он, как старый опытный работник, помогал освоиться новому заведующему. Ему объявили строгий выговор по служебной линии. Редактор решил пока ограничиться этим при условии, что он вернется в семью и с нового учебного года поступит в вечерний университет. У Платона Самсоновича не было высшего образования.

– Кстати, заберите этот самый рог козлотура, – сказал Автандил Автандилович, когда мы уже расходились.

– Рог? – как эхо, повторил Платон Самсонович, и я заметил, как на его худой шею судорожно задвигался кадык.

– Да, рог, – повторил Автандил Автандилович, – чтобы его духу здесь не было.

Когда Платон Самсонович уходил из редакции с рогом, небрежно завернутым в газету, мне стало почему-то жалко его. Я представил, как он возвращается в свою одинокую квартиру с этим одиноким рогом (все, что осталось от его великого замысла). Мне стало совсем не по себе. Но что было делать, утешить я его не мог, да и навряд ли это было возможно.

Статья из центральной газеты была перепечатана в нашей, причем то место, где говорилось о бездумной проповеди козлотура, было набрано жирным шрифтом с замечанием в скобках: «Курсив наш». В том же номере была

помещена передовая под заголовком «Бездумная проповедь козлотура», где давалась критическая оценка всей работе газеты и в особенности отдела сельского хозяйства.

В передовой упоминалось о некоторых лекторах, которые, не дав себе труда разобраться в этом новом деле, легкомысленно примкнули к пропаганде малоизученного опыта.

Одним словом, имелся в виду Вахтанг Бочуа. Но прямо писать о нем не решились, потому что неделей раньше он подарил местному краеведческому музею ценную коллекцию кавказских минералов.

Он, разумеется, позаботился, чтобы это мероприятие не осталось безгласным. Он сам позвонил в редакцию и попросил, чтобы кого-нибудь прислали на церемонию дарения. Прислали фотокора, который и запечатлел ее. Вахтанг с видом смирившегося пирата вручал свои сокровища застенчивому директору музея.

Так что теперь, через неделю после триумфа бескорыстия, упоминать его в газете было как-то неловко.

В следующих номерах печатались организованные отклики на критику козлотура. Кстати, к упрямому зоотехнику поехал один из наших сотрудников, с тем чтобы он теперь выступил с большой статьей против козлотуризации животноводства. Но упрямый зоотехник остался верен себе и наотрез отказался писать, заявив, что теперь ему это неинтересно.

После появления статьи в редакцию много звонили. Так, например, из торгова позвонили, чтобы посоветоваться, как быть с названием павильона прохладительных напитков «Водопой козлотура». Кстати, к нам стали поступать сигналы о том, что в некоторых колхозах начали забивать козлотуров. По этому поводу мы давали разъяснение в том смысле, что не нужно шараться из стороны в сторону, а нужно ввести козлотуров в колхозное стадо на общих основаниях.

С этой же целью Автандил Автандилович, посоветовавшись с нами, предложил товарищам из торгова не уничтожать вывеску целиком, но незаметно ликвидировать в слове «козлотур» первые два слога. Так что теперь получалось «Водопой тура», что звучит, как мне кажется, еще романтичней. Вывеску на самом павильоне быстро привели в порядок, но над павильоном еще целый месяц по ночам светилось, нагло вато подмигивая электрическими лампочками, старое название «Водопой козлотура».

Получалось так, что днем на водопой приходят туры, а по ночам все еще упорствуют козлотуры.

Некоторые местные интеллигенты нарочно приходили смотреть по вечерам на эту электрическую вывеску: они в ней находили как бы противоборствующий чему-то либеральный намек и одновременно злобное упорство догматиков.

Как-то, проходя в кафе, я сам видел небольшую группу подобных вольнодумцев, внушительно, но незаметно толпившихся напротив павильона.

– Это неспроста, – произнес один из них, слегка кивнув на вывеску.

– Плюньте мне в глаза, если все это просто так кончится, – добавил другой.

– Друзья мои, – прервал их благоразумный голос, – все это верно, но не надо слишком глазеть на нее. Посмотрел – и проходи. Посмотрел – и дальше.

– А что тут такого! – возразил первый. – Вот захотел и буду смотреть. Не те времена.

– Да, но могут не так понять, – сказал благоразумный, озираясь. Заметив меня, он мгновенно осекся и добавил: – Вот я и говорю, что критика прозвучала своевременно.

Тут все, как по команде, посмотрели в мою сторону, после чего компания отправилась в кафе, глухо споря и шумно жестикулируя.

В один из этих дней лично мне позвонил директор филармонии и спросил, как быть с песней о козлотуре, которую исполняет хор табачников, а также некоторые солисты.

– Понимаете, – сказал он извиняющимся голосом, – у меня ведь финансовый план, а песня пользуется большим успехом, хотя и не вполне здоровым, как я теперь понимаю, но все же...

Я решил, что по такому вопросу не мешает посоветоваться с Автандилом Автандиловичем.

– Подождите, – сказал я директору филармонии и отправился к редактору.

Автандил Автандилович выслушал меня и сказал, что о хоровом выступлении с песней о козлотуре не может быть и речи.

– Да и хор у них липоватый, – неожиданно добавил он. – Но солисты, я думаю, могут выступать, если словам придать правильный смысл. Одним словом, – заключил он, нажимая кнопку вентилятора, – главное сейчас – не шарахаться из стороны в сторону. Так и передай.

Я передал суть нашего разговора попечителю филармонии, после чего он задумчиво, как мне показалось, повесил трубку.

В этот день Платон Самсонович не пришел на работу, а на следующий явилась его жена и прошла прямо в кабинет редактора. Через несколько минут редактор вызвал к себе председателя профкома. Потом тот рассказал, что там было. Оказывается, Платон Самсонович заболел – не то нервное расстройство на почве переутомления, не то переутомление на почве нервного расстройства. Жена его, как только узнала о судьбе козлотуров, пришла к нему в его одинокую квартиру и застала его в постели. Они, кажется, окончательно примирились и, оставив новую квартиру детям, будут жить в старой.

– Вот видите, – сказал Автандил Автандилович, – здоровая критика укрепляет семью.

– Критика-то здоровая, да он у меня совсем расхворался, – ответила она.

– А это мы поможем, – заверил Автандил Автандилович и велел председателю

профкома сейчас же достать ему путевку.

По иронии судьбы или даже самого председателя профкома Платон Самсонович был отправлен в горный санаторий имени бывшего Козлотура. Впрочем, это одна из лучших здравниц в нашей республике, и попасть туда не так-то просто.

* * *

Недели через две, когда замолкли последние залпы контрпропаганды и нашествие козлотуров было полностью подавлено, а их рассеянные, одиночные экземпляры, смирившись, вошли в колхозные стада, в нашем городе проводилось областное совещание передовиков сельского хозяйства. Дело в том, что наша республика перевыполнила план заготовки чая – основной сельскохозяйственной культуры нашего края. Колхоз Иллариона Максимовича назывался среди самых лучших.

В перерыве, после официальной части, я увидел в буфете самого Иллариона Максимовича. Он сидел за столиком вместе с агрономом и девушкой Гоголой. Девушка ела пирожное, оглядывая посетительниц буфета. Председатель и агроном пили пиво.

Накануне у нас в газете был очерк о чаеводах колхоза «Ореховый Ключ». Поэтому я смело подошел к ним. Мы поздоровались, и я присел за столик.

Агроном выглядел как обычно. У председателя выражение лица было иронически-торжественное. Такое лицо бывает у крестьян, когда они из вежливости выслушивают рассуждения городских людей о сельском хозяйстве. Только когда он обращался к девушке, в глазах у него появлялось что-то живое.

– Еще одно пирожное, Гогола?

– Не хочу, – рассеянно отвечала она, рассматривая наряды женщин, входящих и выходящих из буфета.

– Давай, да? Еще одно, – продолжал уговаривать председатель.

– Пирожное не хочу, луманад хочу, – наконец согласилась она.

– Бутылку луманада, – заказал Илларион Максимович официантке.

– Рады, что козлотура отменили? – спросил я его, когда он разлил пиво по стаканам.

– Очень хорошее начинание, – согласился Илларион Максимович, – только за одно боюсь...

– Чего боитесь? – спросил я и взглянул на него. Он выпил свое пиво и ответил только после того, как поставил стакан.

– Если козлотура отменили, – проговорил он задумчиво, как бы вглядываясь в

будущее, – значит, что-то новое будет, но в условиях нашего климата...

– Знаю, – перебил я его, – в условиях вашего климата это вам не подойдет.

– Вот именно! – подтвердил Илларион Максимович и серьезно посмотрел на меня.

– По-моему, напрасно боитесь, – сказал я, стараясь придать голосу уверенность.

– Дай бог! – протянул Илларион Максимович. – Но если козлотура отменили, что-то, наверное, будет, но что – пока не знаю.

– А где ваш козлотур? – спросил я.

– В стаде, на общих основаниях, – сказал председатель, как о чем-то далеком, уже не представляющем опасности.

Прозвенел звонок, и мы прошли в зал. Тут я распрощался с ними, а сам остался у дверей. Мне надо было прослушать концерт и быстро вернуться, с тем чтобы написать отчет.

Первым номером выступали танцоры Пата Патарая. Как всегда, ловкие, легкие, исполнители кавказских танцев были встречены шумным одобрением.

Их несколько раз вызывали на «бис», и вместе с ними выходил сам Пата Патарая – тонкий, с пружинистой походкой пожилой человек. Постепенно загораясь от аплодисментов, он в конце концов сам вылетел на сцену со своим знаменитым еще с тридцатых годов па «полет на коленях».

После сильного разгона он вылетел на сцену и, рухнув на колени, скользил по диагонали в сторону правительственной ложи, свободно раскинув руки и гордо вскинув голову. В последнее мгновение, когда зал, замирая, ждал, что он вот-вот вывалится в оркестр, Пата Патарая вскакивал, как подброшенный пружиной, и кружился, как черный смерч.

Зрители приходили в неистовство.

– Трио чонгуристок исполняет песню без слов, – объявила ведущая.

На ярко освещенную сцену вышли три девушки в длинных белых платьях и в белых косынках. Они застенчиво уселись на стульях и стали настраивать свои чонгури, прислушиваясь и отрешенно поглядывая друг на друга. Потом по знаку одной из них они ударили по струнам – и полилась мелодия, которую они тут же подхватили голосами и запели на манер старинных горских песен без слов.

Мелодия мне показалась чем-то знакомой, и вдруг я догадался, что это бывшая песня о козлотуре, только совсем в другом, замедленном ритме. По залу пробежал шелест узнавания. Я наклонился и посмотрел в сторону Иллариона Максимовича. На его крупном лице все еще оставалось выражение насмешливой торжественности. Возможно, подумал я, он в город приезжает с таким выражением и оно у него остается до самого отъезда. Гогола, вытянув свою аккуратную головку, замороженно глядела на сцену. Спящий агроном сидел, грузно откинувшись, и дремал, как Кутузов на военном совете.

Трио чонгуристок аплодировали еще больше, чем Пата Патарая. Их дважды заставили повторить песню без слов, потому что все почувствовали в ней сладость запретного плода.

И хотя сам плод был горек и никто об этом так хорошо не знал, как сидящие в этом зале, и хотя все были рады его запрету, но вкушать сладость даже его запретности было приятно, – видимо, такова природа человека, и с этим ничего не поделаешь.

* * *

Жизнь редакции вошла в свою нормальную колею. Платон Самсонович вернулся из горного санатория вполне здоровым. На следующий день после своего возвращения он сам предложил мне пойти с ним на рыбалку. Это было лестное для меня предложение, и я, разумеется, с радостью согласился.

Я уже говорил, что Платон Самсонович – один из самых опытных рыбаков на нашем побережье. Если рыба не ловится в одном месте, он говорит:

– Я знаю другое место...

И я гребу к другому месту. А если и там не ловится рыба, он говорит:

– Я знаю совсем другое место...

И я гребу к совсем другому месту. Но если уж рыба не ловится и там, он ложится на корму и говорит:

– Гребите к берегу, рыба ушла на глубину...

И я гребу к берегу, потому что в море слово Платона Самсоновича закон.

Но так бывает редко. И на этот раз у нас был хороший улов, особенно у Платона Самсоновича, потому что он первый рыбак и сразу забрасывает в море по десять шнуров, привязывая их к гибким прутьям. Прутья торчат над бортом лодки, и он по ним следит за клевом, ухитряясь не перепутать шнуры. И когда он их пробует, слегка приподымая и прислушиваясь к тому, что происходит на глубине, кажется, что он управляет сказочным пультом или дирижирует подводным царством.

Когда мы загнали лодку в речку, привязали ее к причалу и вышли на берег, я еще раз с завистью оглядел его улов. Кроме обычной рыбы, в его сачке трепыхался черноморский красавец – морской петух, которого я так и не поймал ни разу.

– Мало того что вы мастер, вам еще везет, – сказал я.

– Между прочим, через рыбалку я сделал в горах интересное открытие, – ответил он, немного помолчав.

Мы шли по берегу моря вдоль парапета. Он со своим тяжелым сачком,

набитым мокрой рыбой, и я со своим скромным уловом в сетке.

– Какое открытие? – спросил я без особого интереса.

– Понимаешь, искал форельные места в верховьях Кодора и набрел на удивительную пещеру...

Что-то в его голосе заставило меня насторожиться. Я незаметно взглянул в его глаза и увидел в них знакомый неприятный блеск.

– Таких пещер в горах тысячи, – жестко прервал я его.

– Ничего подобного, – быстро и горячо ответил он, при этом глаза его так и полыхнули сухим неприятным блеском, – в этой пещере оригинальная расцветка сталактитов и сталагмитов... Я привез целый чемодан образцов...

– Ну и что? – спросил я, на всякий случай отчуждаясь.

– Надо заинтересовать вышестоящих товарищей... Это не пещера, а подземный дворец, сказка Шехерезады...

Я посмотрел на его посвежевшее лицо и понял, что теперь накопленные им в горах силы уйдут на эту пещеру.

– Таких пещер у нас в горах тысячи, – тупо повторил я.

– Если туда провести канатную дорогу, туристы могли бы прямо с теплохода перелетать в подземный дворец, по дороге любуясь дельтой Кодора и окрестными горами...

– Туда километров сто будет, – сказал я, – кто же вам даст такие деньги?

– Окупится! Тут же окупится! – радостно перебил он меня и, бросив сачок на парашют, продолжал: – Туристы будут тысячами валить со всего мира. Прямо с корабля в пещеру...

– Не говоря уже о том, что один пастух справится с двумя тысячами козлотуров, – попытался я сострить.

– При чем тут козлотуры? – удивился Платон Самсонович. – Сейчас туризм поощряется. А ты знаешь, что Италия живет за счет туристов?

– Ну ладно, – сказал я, – я пошел пить кофе, а вы как хотите.

– Постой, – окликнул он меня, как только я стал отходить. Я почувствовал, что он вовлекает меня, и решил не поддаваться.

– Понимаешь, я чемодан с образцами оставил в камере хранения, – сказал он застенчиво.

– Не понимаю, – ответил я безразличным голосом.

– Ну, сам знаешь, жена сейчас, если увидит эти сталактиты и сталагмиты, начнет пилить...

– Что я должен сделать? – спросил я, начиная догадываться об истинном смысле его приглашения на рыбалку.

– Мы пойдем с тобой и получим чемодан. Я у тебя его оставлю на время...

Сейчас после моря и рыбалки тащиться через весь город на вокзал...

– Хорошо, – сказал я, – только завтра. Надеюсь, до завтра ваши сталактиты не испортятся?

– Что ты! – воскликнул он. – Они держатся тысячелетия, а эти редкой оригинальной окраски. Ты завтра сам увидишь.

– Ну ладно, до завтра, – сказал я.

– До свидания, – пробормотал он задумчиво и небрежно приподнял свой сачок, полный прекрасной морской рыбы.

Только я сделал несколько шагов, как он снова окликнул меня. Я оглянулся.

– Про пещеру пока молчи, – сказал он и приложил палец к губам.

– Хорошо, – ответил я и быстро пошел в сторону кофейни.

Был чудесный тихий вечер, какие бывают в наших краях в начале осени. Солнце медленно погружалось в воду и бухта со стороны заката золотилась и пламенела, постепенно угасая к востоку, где она становилась сначала сиреневой, потом пепельной, а дальше вода и берег уже окунались в сизую дымку.

Я думал о Платоне Самсоновиче. Я думал о том, что наше время создало странный тип новатора, или изобретателя, или предпринимателя, как там его ни называй, все равно, который может много раз прогорать, но не может до конца разориться, ибо финансируется государством. Поэтому энтузиазм его практически неисчерпаем.

Кофейня была заполнена обычными посетителями – старожилками, которые пили кофе бережными глотками, тихо смакуя свои воспоминания. В углу за сдвинутыми столами юнцы скучно шумели порожняком своей молодости.

Я присел за столик и повесил сетку на спинку стула.

– Сладкий или средний? – спросил кофевар, наклоняя свою выжженную солнцем и кофе голову восточного миротворца. Он некоторое время с удовольствием рассматривал мой улов.

– Средний, – сказал я привычно.

После моря и гребли приятно пошатывало, и я думал о том, что сейчас в мире нет ничего прекрасней чашечки горячего турецкого кофе с коричневой пенкой на поверхности.

На этом мне хочется закончить правдивую историю козлотура, и я намеренно ничего не говорю о девушке, с которой познакомился на причале, проявив при этом немало ловкости и самообладания. Во-первых, потому что у нее окончились летние каникулы и она уехала учиться, а во-вторых, это совсем другая история, которая к козлотурам, как я надеюсь, не имеет ни малейшего отношения.

Быстро наступила южная ночь. Я смотрел на небо, пытаюсь угадать то созвездие, которое когда-то напомнило мне голову козлотура, но, как я с тех пор ни смотрел, никак не мог уловить ничего подобного. Созвездия Козлотура не было видно, хотя на небе было много других созвездий.

Я сидел за столиком и пил кофе из горячей дымящейся чашечки. И каждый раз, когда я ее подносил ко рту и втягивал губами густой горячий глоток, я чувствовал локтем осторожное прикосновение сетки с рыбой

Это было похоже, как если б за мной сидела моя собака и, тычась мокрым, холодным носом мне в локоть, сдержанно напоминала о себе. Прикосновение было приятно, и я не менял позы, пока не выпил весь кофе.